

ФРЕДЕРИК

БЕГБЕДЕР

УНА & СЭЛИНДЖЕР



роман

18+

Annotation

Жанр своей новой книги «Уна & Сэлинджер» Ф. Бегбедер с присущим ему стремлением эпатировать определяет как faction, то есть fact plus fiction. Факты просты: 1940 год, Нью-Йорк. 21-летний начинающий писатель Джерри Сэлинджер познакомился с 15-летней Уной О'Нил, дочерью известного драматурга. Идиллия продлилась недолго, через несколько месяцев японцы напали на Пёрл-Харбор, Сэлинджер отправился воевать в Европу, а Уна решила попытать счастья в Голливуде. Попробовавшись на роль в фильме Чарли Чаплина, она получила главную роль в его и своей жизни. Сэлинджер честно воевал, потом пробивался сквозь журнальные публикации в большую литературу и наконец создал свою главную вещь – «Над пропастью во ржи». Но Бегбедера интересуют не столько факты, сколько та волшебная встреча героев, которая обернулась разлукой на всю жизнь и все же стала тем, что эту жизнь определяет.

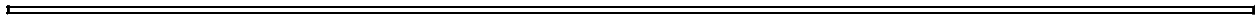
- [Фредерик Бегбедер](#)
 -
 - [Это не вымысел](#)
 - [Джерри, введение](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [Швейцарско-пиренейский эпилог](#)
 - [Благодарности](#)
 - [Библиография](#)
- [notes](#)
 - [1](#)

- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)

- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)

- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)

- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)



Фредерик Бегбедер

Уна & Сэлинджер

*С такой же гордостью, с какой моя кошка
Кокошка приносит мне на подушку растерзанного,
окровавленного, но еще живого воробья, я кладу эту
книгу вместе с моим заскорузлым сердцем к ногам^[1]
мадам Лары Мишели*

*Are you going to Scarborough fair?
(War bellows blazing in scarlet battalions)
Parsley, sage, rosemary and thyme
(Generals order their soldiers to kill)
Remember me to one who lives there
(And to fight for a cause they've long ago
forgotten)
She once was a true love of mine.^[2]*

*Неизвестный йоркширский бард, XVI
век*

*(заключенные в скобки
антимилитаристские строчки
добавлены Полом Саймоном в 1966
году)*

Copyright © Éditions Grasset & Fasquelle, 2014

© Н. Хотинская, перевод, 2015

© Издание на русском языке, ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

Это не вымысел

Когда Диане Вриланд^[3] задавали вопрос, сколько в ее самых необычайных воспоминаниях фактов, а сколько вымысла, она отвечала: «It's faction».^[4]

Эта книга – чистый faction. Все в ней точно соответствует действительности: персонажи реальны, места существуют (или существовали), факты подлинны, а даты можно проверить по биографиям и учебникам истории. Все остальное вымышлено, и я прошу детей, внуков и правнуков моих героев великодушно простить меня за кощунственное вторжение.

В Соединенных Штатах для подобных романов Труменом Капоте был придуман ярлык: «non-fiction novel». В интервью Джорджу Плимптону в «Нью-Йорк таймс» 16 января 1966 года он определил свой замысел как «повествование, в котором автор использует все приемы художественной литературы, при этом по возможности придерживаясь фактов». На французский это следовало бы перевести как «невывымышленный роман». Ужас!

Я предпочитаю «faction», ведь это слово существует и в нашем языке.^[5] Оно содержит намек – забавный в наше мирное время – на то, что автор этого повествования мог бы быть кем-то вроде солдата в дозоре или вождя опасного мятежа.

Персонажи этой книги прожили жизни, полные тайн, – что дает простор авторской фантазии. Однако я торжественно заявляю: будь эта история неправдой, я был бы глубоко разочарован.

ФБ

* * *

Весной тысяча девятьсот восьмидесятого года завсегдаи парка Пали в Нью-Йорке стали свидетелями довольно необычной сцены. У ограды припарковался длинный черный лимузин; было около трех часов пополудни. Шофер распахнул дверцу перед пассажиркой лет шестидесяти, в белом костюме и темных очках. Она медленно вышла из машины, постояла немного, нервно теребя жемчуга на шее, словно молилась,

перебирая четки, и направилась в левый угол парка. Неспешно приблизившись к скрытому зарослями водопаду, дама достала из сумочки несколько осколков фарфора. Затем она повела себя более чем странно: опустилась на колени и принялась лихорадочно рыть землю наманикюренными ногтями. Прохожий, поедая хот-дог, мимоходом удивился, зачем эта бродяжка роется в клумбе, а не ищет чем поживиться в мусорном контейнере, расположенном в противоположном конце сквера. В тот момент он не обратил особого внимания, но ему показалось, что она закопала в ямку осколки фарфора и руками утрамбовала сверху холмик, стоя под кустами на четвереньках, как ребенок в песочнице. Обедаящие под открытым небом от изумления перестали жевать, когда дама, явно не из простых, поднялась, отряхнула перепачканные землей руки и с достоинством села в свой «кадиллак». Несмотря на темные очки, на лице ее можно было прочесть удовлетворение от хорошо сделанной работы. Она выглядела чудачкой, каких можно встретить порой на улицах Нью-Йорка, особенно с тех пор, как стали общедоступны барбитураты. Шофер захлопнул дверцу, обошел машину, сел за руль, и длинный лимузин бесшумно заскользил к Пятой авеню.

Джерри, введение

Мне хочется рассказать историю. Смогу ли я когда-нибудь рассказать что-нибудь иное, кроме моей собственной истории?

Пьер Дрие Ла Рошель. Гражданское состояние, 1921

В начале 2010-х годов я заметил, что не вижу больше моих ровесников. Я был окружен людьми на двадцать-тридцать лет меня моложе. Моя девушка родилась в год, когда я в первый раз женился. Куда же делось мое поколение? Сверстники исчезали постепенно: большинство было слишком занято работой и детьми; настал день, когда они просто перестали выходить из своих офисов или домов. У меня так часто менялся адрес и телефон, что старые друзья не могли больше со мной связаться; некоторые из них, случалось, умирали; я невольно думал, что эти две трагедии, не иначе, связаны между собой (без меня жизнь останавливается). Отсутствие ровесников в моем окружении имело, возможно, и другую причину: я избегал своего отражения. Сорокалетние женщины пугали меня невротами, идентичными моим: тут и ревность к молодости, и очерствение сердца, и неразрешимые физические комплексы, и страх, что их больше никто не захочет, если вообще еще хотят. Мужчины же моих лет мусолили воспоминания о былых загулах, пили, ели, толстели и лысели, непрерывно жалуясь кто на жену, кто на одиночество. «Земную жизнь пройдя до половины», люди говорили только о деньгах – особенно писатели.

Я стал самым настоящим геронтофобом. Я изобрел новый вид апартейда: мне было хорошо только с теми, кому я годился в отцы. Общество юнцов обязывало к усилиям по части гардероба, заставляло пересмотреть свою речь и культурный багаж: оно пробуждало меня, воодушевляло, возвращало мне улыбку. Здороваясь, я должен был скользнуть ладонью по ладоням моих юных собеседников, потом, сжав кулак, стукнуть им об их кулаки, после чего ударить себя в левую сторону груди. Простое рукопожатие выдавало бы разницу поколений. Приходилось также избегать шуток моего времени: боже упаси, например, сказать, что я умею грести, как Жерар д'Абовиль^[6] («Это еще кто?»). Встречая одноклассников, я их не узнавал и, вежливо улыбаясь, поспешно обращался

в бегство: мои ровесники решительно были слишком стары для меня. Я как мог избегал обедов с супружескими парами. Светские обязанности пугали меня, особенно сборища сорокалетних в квартирах серо-бурого цвета с ароматизированными свечами. Своим знакомым я не мог простить именно этого: они меня знали. Знали, кто я, а мне это не нравилось. В сорок пять лет я хотел вновь обрести чистоту. Посещал только новенькие бары для отвязной детворы, блестящие чистым пластиком ночные клубы с туалетами без всяких воспоминаний, модные рестораны, о существовании которых мои бывшие дружки узнавали только через пару-тройку лет, листая «Мадам Фигаро». Мне случалось иногда подцепить девушку, которая вскоре с умилением сообщала мне, что мы с ее матерью отплясывали на одних вечеринках. Единственная уступка старости: я не писал в «Твиттере». Не видел интереса посылать фразы незнакомым людям, когда можно собрать их в книгах.

Признаю, что, отказываясь общаться с ровесниками, я отказывался стареть. Я забыл, что молодиться и быть молодым – не одно и то же. В каждой морщинке на лице ближнего своего видишь собственную смерть в действии. Я искренне полагал, что, являясь только с юнцами, знающими скорее о Роберте Паттинсоне, чем о Роберте Редфорде, проживу дольше. Какой-то расизм по отношению к самому себе. Можно играть в Дориана Грея, не пряча на чердаке пагубного портрета: достаточно отрастить бороду, чтобы не видеть больше своего истинного лица в зеркале; бывать время от времени диск-жокеем со своими старыми сорокапятками; носить достаточно широкие футболки, чтобы не было видно растущего животика; не надевать очки для чтения (как будто, если читать книгу, держа ее на вытянутых руках, помолодеешь); снова взять в руки теннисную ракетку и надеть спортивный костюм *American Apparel* цвета антрацит с белой каймой, позировать для фото в витринах магазинов *Kooples*, танцевать с серфингистками-малолетками в *Blue Cargo* на пляже Ильбарриц и каждый день маяться похмельем.

К началу 2010-х годов я знал назубок биографию Рианны; судите сами, сколь серьезные опасения внушало мое положение.

Тремя годами раньше в ресторанчике в Ганновере, штат Нью-Гэмпшир, мне попала на глаза вот эта фотография очаровательной покойницы.



Эту молодую женщину зовут Уна О'Нил: отметьте ее прическу под Джин Тирни^[7] (косой пробор, открытый лоб), ослепительной белизны зубки и напряженную яремную жилку на шее, выражающую ее веру в жизнь. Сам факт, что такая девушка жила на свете, обнадеживает. Эта темнокудрая малышка дышит полной грудью, кажется, верит, что нет ничего невозможного. А между тем ее детство... Девочке было два года, когда отец бросил ее мать и поселился в Европе с новой женой; тогда Уна писала ему душераздирающие открытки: «Папочка, я так тебя люблю, не забывай меня!» Он увиделся с ней только через восемь лет.

В 1940 году Уна О'Нил была влюблена в моего любимого писателя.

Я нашел ее фотографию, когда Дж. Д. Сэлинджеру оставалось жить еще три года. Мы с Жан-Мари Перье поехали к нему в Корниш, штат Нью-Гэмпшир, чтобы снимать документальный фильм. Идея была столь же абсурдна, сколь и банальна: пробиться к писателю, слывшему величайшим в мире мизантропом, стало чем-то вроде туристического маршрута, освоенного тысячами фанатов. В 1953 году автор романа «Над пропастью во ржи» поселился на ферме среди лесов Новой Англии. Он ничего не публиковал с 1965-го – года моего рождения. Не давал никаких интервью, не допускал к себе фотографов и отказался от всяких контактов с

внешним миром. А я как раз и воплощал внешний мир, собираясь вторгнуться в его личное пространство с камерой высокого разрешения. Зачем? Я и сам тогда не знал, но моя тяга к этому старику была как-то связана с нарастающим отвращением к ровесникам. Сэлинджер, как и я, любил девушек намного его моложе. Во всех своих романах и новеллах он давал слово детям и подросткам. Они символизировали утраченную невинность, никем не понятую чистоту; взрослые же были все сплошь безобразными, тупыми, скучными, авторитарными, погрязшими в материальном комфорте. Лучшие из его новелл – те, в которых он использует детскую речь, чтобы выразить свое отвращение к материализму. «The Catcher in the Rye» с 1951 года разошелся по всему миру тиражом 120 миллионов экземпляров: короткий роман о мальчишке, исключенном из пансиона, который бродит по Центральному парку и спрашивает, куда деваются утки зимой, когда пруд замерзает. Посыл, быть может, ребяческий, наверняка ложный, а то и опасный, но Сэлинджер создал ту самую идеологию, добровольной жертвой которой я стал. Он – писатель, давший самое точное определение современному миру – миру, разделенному на два лагеря. С одной стороны, серьезные люди, отличники в галстучках, старые буржуа, которые ходят на работу, женятся на пустоголовых домохозяйках, играют в гольф, читают эссе об экономике и принимают капиталистическую систему такой, какая она есть: «Типы, которые только и знают, что хвастать, сколько миль они могут сделать на своей дурацкой машине, истратив всего галлон горючего».^[8] А с другой – незрелые подростки, грустные дети, навсегда застрявшие в первом классе лица, бунтари, танцующие ночи напролет, и чудики, блуждающие в лесах, те, что задают вопросы про уток в Центральном парке, беседуют с бродяжками или монашками, влюбляются в шестнадцатилетних девочек и никогда не работают, свободные, бедные, одинокие, грязные и несчастные. Короче – вечные смутьяны, которые думали, что протестуют против потребительского общества, а на самом деле заставили западные страны обрести долги за последние шестьдесят лет и способствовали продаже товаров широкого потребления, начиная с 1940-х годов, на миллиарды долларов (диски, романы, фильмы, телесериалы, одежда, женские журналы, видеоклипы, жевательная резинка, сигареты, открытые машины, алкогольные и безалкогольные напитки, наркотики, все, что рекламировалось дерзкими маргиналами как мейнстрим). Мне было необходимо встретиться лицом к лицу с основоположником инфантильного фантазма, заставляющего мечтать наш продвинутый мир. С легкой руки писателя Сэлинджера люди больше не хотят стареть.

Мы взяли напрокат крытый грузовичок и отправились в путь по зеленым холмам. В Корниш прибыли ясным весенним утром, в четверг, 31 мая 2007 года, в 11:30. Небо было синее, но солнце ледяное. Холодные солнца бесполезны, какой обман – говорить о весне при такой температуре, в нескольких кабельтовых от Квебека. Адрес Сэлинджера легко найти в Интернете; после изобретения спутникового навигатора никто уже не может спрятаться на нашей планете. Сейчас я дам вам этот адрес, который был на протяжении шестидесяти лет самым засекреченным в мире. В Корнише есть старый крытый мост через реку Коннектикут. Переезжая его от соседней деревни Виндзор, вы почувствуете себя Клинтон Иствудом в «Мостах округа Мэдисон». Затем свернете налево, на Уилсон-роуд, и проедете несколько сот метров до маленького кладбища – серые могильные плиты, низкая ограда, покрашенная белой краской, – оно останется справа. Далее направо, на Платт-роуд, что идет на подъем вдоль заросшего кустами и мхом кладбища. Если вы проделаете этот путь ночью, то теперь вам покажется, будто вы попали в клип «Триллер» Майкла Джексона. В поисках Сэлинджера требуется мужество; многие желторотые репортеры, приблизившись к здешним густым лесам, повернули назад. Бернанос где-то пишет о «жидкой тишине»: до 31 мая 2007-го я не понимал, что это значит. Нам всем в грузовичке было не по себе – и режиссеру Жан-Мари Перье, и продюсеру Гийому Рапно, да и мне тоже. А ведь Жан-Мари всякое видал: в семьдесят втором он, например, сопровождал в американском турне «Роллинг стоунз», а это далеко не буколическая прогулка. А теперь он скорбно смотрел на меня, словно говоря: «Это была твоя бредовая идея, старичок, так что кончай киснуть».

Дорога сужалась, петляя в высокой траве среди высоких сосен, старых берез, кленов и вековых дубов. Свет едва проникал сквозь черную листву; в этом замогильном лесу под переплетенными ветвями даже середь бела дня было темно, как в полночь. Войти в лес – это магический обряд: по лесам бродят в сказках, в литературе немецкого романтизма и во всех фильмах Уолта Диснея. Солнце мерцало сквозь кроны деревьев: день, ночь, день, ночь; свет возникал и исчезал, как будто солнце отбивало нам послание морзянкой: «Разворачивайтесь. Стоп. Бегите отсюда, пока не поздно. Назад. Мэйдэй, мэйдэй».^[9] Романтические леса могут стать враждебной территорией, как в фильмах про ведьму из Блэр или в Хюртгенвальде, зеленом аду зимой 1944/45 года. Я уже знал, что струшу. Никогда я не осмелился бы потревожить человека, привившего мне вкус к чтению, этого американского писателя, который был воплощением нежности и бунта. Мама хорошо меня воспитала, и я не в меру застенчив. После километра

под густой листвой лес расступился справа. Вдруг снова стало светло, как будто Господь Бог включил гигантский прожектор. Это была вроде бы прогалина, но когда прогалина идет под уклон, ее называют лугом, или поляной, или лощиной – откуда мне знать, я ведь вырос в городе. К дому Сэлинджера ведет Лэнг-роуд, первый поворот направо. Она идет вверх, справа по борту красный амбар. Я даже могу дать вам его телефон: 603-675-5244 (опубликовал один биограф). И вот тут-то я не смог выйти из машины, меня била дрожь, короче, сдрейфил я самым позорным образом. Я представил себе старого Сэлинджера (тогда восьмидесятивосьмилетнего): он размышляет, сидя под навесом у поленницы в кресле-качалке, а рядом кошки точат когти о старые подушки... Коттедж стоит на вершине холма, вид оттуда, должно быть, изумительный, с террасы можно охватить взглядом реку и луга в белых крапинках домов. В небе носились темные птицы, солнце заливало ледяным светом деревья на синей вершине горы Аскутни. Воздух благоухал на лужайке, заросшей донником – я специально узнавал название этих золотистых цветов, которыми изобилуют здешние места. Кусты можжевельника росли на зеленеющем склоне, точно таком же, как в *Cape*.^[10] Как я любил в восемь лет, пачкая навозом свои штанишки *NewMan*, скатываться с него среди овечек. Это было необычайно спокойное место... как панорама Нового Света. Ни один человек не имел права нарушить такую безмятежность.

– Ну же, Фред, – сказал мне Гийом Рапно, – не для того мы так далеко забрались, чтобы уйти несолоно хлебавши!

– Я... нет... Я не думал, что... – Я внезапно заговорил в точности как Патрик Модiano.^[11] – Все-таки... мы же не папарацци...

– А кто же мы еще, идиот, ты работаешь в «Буаси»!^[12] Ты что, не соображаешь, если он нам откроет, это же сенсация мирового масштаба, даже если захлопнет дверь перед носом, все равно картинка будет worldwide!^[13]

– Но... Сэлинджеру за восемьдесят, он глух как пень, к тому же он ветеран Второй мировой, так что наверняка вооружен.

– А-а. Вот об этом ты мог бы сказать нам раньше.

Деревянный щит перед владениями Сэлинджера предупреждал: «NO TRESPASSING».^[14] Накануне мы брали интервью у писателя Стюарта О'Нэна в его саду в нескольких километрах отсюда. Он напомнил мне девиз штата Нью-Гэмпшир: «LIVE FREE OR DIE».^[15] Огнестрельное оружие по-прежнему свободно продается в этом штате, несмотря на регулярные кровопролития в школах.

– Я так и знал, что ты сдрейфишь, – сказал Жан-Мари Перье. – Ты просто мифоман.

– Нет, я... я... вежливый.

Вся команда в машине расхохоталась, и я тоже – из вежливости. Но я не соврал. Учтивость вкупе с робостью сильно осложняет мне жизнь. Я всегда думал, что, будь все хорошо воспитаны, обществу не понадобились бы законы. И я плохо себе представлял, как позвонил бы в дверь затворника, точно нарядившийся ведьмой сорванец, требующий конфет в вечер Хеллоуина.

Отшельничество – достойная традиция, прочно укоренившаяся в этой части Соединенных Штатов со времен «Белой дамы» – поэтессы Эмили Дикинсон, прожившей всю жизнь, с 1830 по 1886-й, затворницей в Амхерсте, всего в часе езды к югу от дома Сэлинджера, в штате Массачусетс. Та, чьи стихи увидели свет только после ее смерти, написала: «Отсутствие есть сгусток Присутствия». Эта фраза говорит о Боге – но еще и о рекламе. Ведь отказ от общества – не обязательно осознанный выбор: это может быть душевным изъяном, социальной неприспособленностью, а может и расчетом, способом сделать свое присутствие еще заметнее, заставить людей думать о вас – или спасти свою душу, существовать, ощущать трепет жизни. Для Дикинсон эта неспособность покинуть свою комнату была, наверно, недугом и мукой. Некоторые ее биографы намекают на неразделенную любовь... Она будто бы была влюблена в некоего священника, женатого, отца семейства... Несчастливая любовь... В «Утехах и днях» Пруст пишет то же самое, что Эмили Дикинсон: «Разве тот, кто любит, не ощущает, что отсутствие любимого человека есть самое достоверное, самое реальное, самое незыблемое, самое надежное его присутствие?»^[16]

Вот тут-то и появляется Уна О'Нил. Чтобы получить прощение за то, что отступил в нескольких метрах от цели, я пригласил свою команду пообедать в любимом ресторане Сэлинджера «Лу» в Ганновере, рядом с Дартмутским колледжем. Официантка не пожелала сказать нам, когда писатель приходил в последний раз (я где-то вычитал, что он завтракал там по воскресеньям). Вся округа берегла покой писателя-мифа. По радио передавали *Smoke Gets in Your Eyes*^[17] в исполнении «Платтерс». Я рассматривал висевшую на стене черно-белую фотографию, снятую в каком-то ночном клубе 1940-х: девушки в вечерних платьях и жемчугах позировали рядом с мужчинами постарше в костюмах-тройках и шляпах. На рамке была надпись: «Сторк-клуб, 1940». К 2007 году эти

пятидесятилетние джентльмены наверняка давно уже умерли, а красивые девушки, улыбавшиеся на снимке, либо тоже похоронены, либо одной ногой в могиле, пускают слюни в инвалидной коляске и ничего не помнят о том веселом вечере. А рядом, на стене, – она, Уна.

Когда мы вышли из ресторана, меня снова затрясло. А между тем в воздухе пахло весной: желтые цветы, склонившиеся над рекой Коннектикут, называются золотыми жезлами. Только старики интересуются названиями цветов: им хочется знать, что вырастет вскоре над ними. В этих местах есть целые поля ромашек, такие белые – ни дать ни взять лыжная трасса. Любимый писатель Сэлинджера Фрэнсис Скотт Фицджеральд приезжал в Дартмут в феврале 1939-го с Баддом Шульбергом^[18] поработать над сценарием под названием *Winter Carnival*^[19] для «Юнайтед артистс» (кинокомпании, основанной Чаплином). Он допился до того, что пришлось госпитализировать его в Нью-Йорке, прежде чем вернуть в Голливуд, где он скончался год спустя, угощаясь плиткой шоколада у Шейлы Грэм в доме 1443 на Норт-Хейворт-авеню. Бадд сам рассказал мне о своих «сеансах работы» со Скоттом. Я познакомился с ним в Довиле, когда ему присудили литературную премию фестиваля. Плюс-минус пара лет – и Сэлинджер вполне мог бы лакомиться пышками с мисс О’Нил, Скоттом Фицджеральдом и Шульбергом здесь, возле Дартмутского колледжа, в 1939-м (Уне было четырнадцать лет, Сэлинджеру двадцать, Скотту сорок три, а Бадду двадцать пять). Чем я старше, тем теснее становится мой век.

Хотелось бы мне знать, виделся ли Сэлинджер с Уной после войны. Все моя сентиментальность. Я думаю, что это Уна вдохновила роман, который навсегда запретит нам стареть. Ответа я никогда не узнаю: Джерри Сэлинджер умер 27 января 2010-го, через три года после моего несостоявшегося визита в Корниш. А письма Дж. Д. Сэлинджера Уне О’Нил по сей день спрятаны в Швейцарии, в Корсье-сюр-Ве́ве, где закончится эта книга.

I Манхэттенский романс

I knew he'd be a writer. I could smell it.^[20]

Уна О'Нил о Дж. Д. Сэлинджере

В Нью-Йорке в 1940 году курили все и везде – в барах и ресторанах, в такси, в поездах и особенно в «Сторк-клубе». У выходящих из этого заведения неизменно щипало глаза и волосы пахли табачным дымом. Люди губили свое здоровье похлеще, чем сегодня, никто ведь не упрекал их в истощении кассы социального страхования, в ту пору еще не существовавшего. Время близилось к одиннадцати вечера; в этот час уже трудно было различить лица людей, сидевших за столиками в длинном зале бара. Весь «Сторк» был не клубом, но одним непроницаемым облаком. Под сеткой, наполненной воздушными шариками, оркестр в смокингах наяривал песенки Кэба Кэллоуэя.^[21] Или это был сам Кэб Кэллоуэй? На стене был нарисован аист в цилиндре и с сигаретой в клюве. Ресторан воскресным вечером был так переполнен, что клиентам приходилось надсаживать глотку, чтобы заказать напитки официантам в коротких курточках и при галстуках-бабочках. Но это никого не смущало: американцы всегда разговаривают громко, особенно когда им наливают бурбон на толченный лед.

Уроженец Нового Орлеана, молоденький блондинчик с высоким, пронзительным голосом, непрестанно улыбался, сопровождая трио наследниц: Глорию Вандербильт, Уну О'Нил и Кэрол Маркус, – то были первые «it-girls»^[22] в истории западного мира, скрытые за дымовой завесой. Днем он рассылал тексты в газеты, которые их пока не печатали. А ночью, протерев свои круглые очки платочком из черного шелка, вновь водружал их на нос, а шелковый квадратик возвращал в левый наружный карман белого пиджака, аккуратно расправив четыре треугольничка, направленные вершинами в потолок, точно стрелы, целящиеся в воздушные шарики над головой. Он полагал, что, для того, чтобы сойти за умного, надо быть хорошо одетым, и в его случае это было верно. Ему исполнилось шестнадцать лет, звали его Трумен Капоте, а сцена происходила по адресу: Восточная Третья, угол Пятьдесят третьей улицы.

– Крошки мои, вы мои лебеди.

– Почему это ты называешь нас лебедями? – спросила Глория, выпустив клуб дыма ему в лицо.

– Ну так, во-первых, вы такие беленькие, – отвечал Капоте, едва сдерживая кашель, – потом, вы так изящно двигаетесь, у вас длинные грациозные шейки...

– И острые оранжевые клювы, а?

– Да, у тебя, Глория, очень острый клювик, ты доказываешь нам это каждый вечер. Но он скорее красный, если по нему размазано, как и по твоим передним зубкам, содержимое тюбика губной помады.

– Но где же наши крылья? – спросила Уна.

Глаза Трумена Капоте (голубые) были устремлены только на официанта, молодого антильца с неправильным прикусом, смахивавшего на Янника Ноа^[23] задолго до рождения Янника Ноа.

– Будьте любезны, молодой человек, принесите нам, пожалуйста, четыре martini с водкой – так я буду уверен, что скоро увижу вас снова.

Трумен улыбнулся самой красивой из трех своих спутниц.

– Пока вы спали, Уна, darling, я подрезал вам крылья, – ответил он ей, – чтобы не дать вам улететь далеко от меня. Вы у меня в плену на ближайшее десятилетие. Не волнуйтесь, годы пройдут быстро.

– Трумен, – вмешалась Глория, – если мы лебеди, кто тогда ты... поросенок?

Расхохотались все. Глория отпустила эту шпильку, как бы закрыв тему раз и навсегда. Трумен порозовел; и в самом деле, любителю колбас было бы трудно устоять перед его прелестью. Но его светлые глаза искрились лукавством, и все, что он говорил, было легко и весело, что как-никак отличало его от блюда свинокопченостей. В этом же баре, на другом конце зала, молодой человек ростом метр девяносто молча смотрел на шестой столик, – впрочем, он вообще всегда молчал. Да и все взгляды в «Сторке» были устремлены к шестому столику, расположенному в углу, в конце зала, имевшего форму буквы «Г». В тысяча девятьсот сороковом Джерому Дэвиду Сэлинджеру был двадцать один год. Он еще жил у родителей, в доме 1133 по Парк-авеню, на углу 91-й улицы. Высокого, красивого и хорошо одетого, его иной раз впускали одного в «Сторк», самый закрытый клуб в Нью-Йорке. Его отец был евреем, разбогатевшим на торговле кошерными сырами и копченым мясом. Пока ничто не предвещало Джерри судьбы изобретателя вечной юности в кредит.

Пока это долговязый, застенчивый юноша, закурывающий сигарету с непринужденностью Хамфри Богарта, – этот безукоризненный жест

потребовал долгих недель тренировки перед зеркалом в ванной. Трумен Капоте – большой сноб, чем он, однако мягче и забавнее, хоть и грешит самолюбованием. Внешне он – полная противоположность Сэлинджеру: так же мал ростом, как тот высок, глаза голубые – а у того черные и пронзительные, блондин – а тот жгучий брюнет (типичное дитя Алабамы рядом с дылдой, копирующим нью-йоркских интеллектуалов). Они, давясь, курят одну сигарету за другой, чтобы выглядеть мужчинами, и знают, что им повезло пить спиртное в клубе для самых избранных. Только в эти моменты они ведут себя как взрослые. Капоте уже записывает все, что видит, и повторяет все, что слышит. Он прекрасно знает, что его бы близко не подпустили к этому клубу, если бы не три лебедя. Они – его сезам: перед ними всюду расстилают красную ковровую дорожку, они позируют для фото в «Харперс Базар» и «Вог». Это еще почти девчонки и уже почти феминистки: кутя, куря и танцуя в легких шелках, под перестук своих жемчугов, они, сами того не зная, продолжают медленный процесс эмансипации, начатый в 1920-х годах и далеко еще не законченный. А Трумен лишь следует в кильватере и развлекает своих фарфоровых суфражисточек. Тридцать пять лет спустя он зло опишет все это (в «Услышанных молитвах»), подруги от него отвернутся, и он умрет от горя, насквозь пропитанный алкоголем, наркотиками и транквилизаторами. Но пока у Трумена озабоченная мордашка ребенка, обделенного вниманием родителей и слишком рано понявшего, что надо накапливать воспоминания, чтобы было чем занять свое одиночество. Для художника праздник никогда не бывает бесплатным. Писатели, выходя вечером в свет, никогда не отдаются веселью целиком: они работают, а вы как думали? Вам кажется, что они несут чушь, а они между тем трудятся, ищут фразу, которая оправдала бы их завтрашнее похмелье. Если улов хорош, несколько фраз переживут повторное чтение и будут вставлены в текст. Если же вечер не удался, копилка будет пуста – ни метафоры, ни шутки, ни даже каламбура или сплетни. Увы, когда нечего ловить, писатели не признают своего поражения: неудача дает им повод еще чаще бывать в свете и еще больше пить – ни дать ни взять старатели, с упорством, достойным лучшего применения, разрабатывающие иссякшую жилу.

Дж. Д. Сэлинджер подошел к их столику. Он всегда чуть-чуть сутулился, чтобы не слишком возвышаться над другими: он был не только выше, но и старше всех. Нога Капоте подрагивала под столом, точно хвост возбужденной собаки. Он и заговорил первым:

– Мисс, не скажете ли вы, что это за большая птица в черных перьях? Цапля, фламинго?

– Hello, there.^[24] Я Сэлинджер. Джерри Сэлинджер, рад познакомиться. Лично у меня любимая птица... – он задумался, пожалуй, слишком надолго, – Американская Девушка в Шортах.

Тоже мне, подвиг – снискать улыбку самых благосклонных девушек Нью-Йорка. Трумен понял намек и молча смотрел, как эта жердь, клюнув носом, целует ручки трио: если он и был птицей, то, скорее всего, аистом, а стало быть, ему самое место было в клубе («*stork*» значит «аист», got it?^[25]). Уна была самой робкой из всех. И самой кроткой, хоть на ней и было черное платье с обнаженными плечами. Ее молчание и вспыхивающие румянцем щеки не вязались с непроницаемо-черными глазами: она походила на портреты простушек кисти Жана Батиста Греза, выставленные в Собрании Уоллеса в Лондоне. Она, казалось, не знала, что красива, хотя все повторяли ей это с рождения – все, кроме отца. Неловкость, неуверенность в себе, запинаящаяся речь только красили каждое ее движение – когда она прижимала к себе стакан, помешивала льдинки пальцем, а потом сосала его, словно порезалась до крови. Всем своим видом Уна словно постоянно извинялась за то, что она здесь, как будто не знала, что клубу необходимо ее присутствие, чтобы остаться модным. Прилагательное «*clumsy*»^[26] было как будто специально придумано для ее опасной угловатости. Так и хотелось приласкать этого брошенного котенка. Глория была более совершенной, Кэрол более белокурой – она копировала яркий, как рана, рот Джин Харлоу^[27] и ее нарисованные брови. Таков был секрет их дружбы: они составляли не просто трио, но палитру; тут нашлось бы на любой вкус, и ни одна не была конкуренткой другим. Любите женщин изысканных, роковых, женщин-вамп – вот вам Глория, знатная миллиардерша. Питаете слабость к чувственным или истеричным, боитесь соскучиться, любите сцены – выбирайте Кэрол. А если вас не привлекают ни деньги, ни причуды... если ищете создание не от мира сего, нуждающееся в защите, ангела, которого надо спасти... вот тогда вы рискуете попасться в западню Уны.

Уна внушала уважение своей безмятежностью. Она была наименее яркой из компании, но отнюдь не наименее притягательной. Когда она улыбалась, две ямочки появлялись на ее щеках, и тогда казалось, что жизнь, в сущности, может быть почти сносной, лишь бы всегда блестели глаза. С тех пор как ей исполнилось пятнадцать, мать Уной практически не занималась, и та жила у Кэрол, на Парк-авеню, 420. С тех пор как ей исполнилось пятнадцать, швейцар в синей униформе впускал Уну О'Нил в «Сторк», когда ей было угодно, потому что патрон с ума сходил по ее

фамилии. Шерман Биллингсли присматривал за ней, называл ее «my most beautiful baby»,^[28] усаживал за лучший столик в Cub Room (VIP-зона) и угощал выпивкой. Снобизма в нем было как в биде из «Уолдорф Астории», да и наживался он на этом изрядно: компания красивых девушек, даже несовершеннолетних – особенно несовершеннолетних, – создает атмосферу, тем более если они носят знаменитые фамилии, что привлекает фотографов и богачей.

– Подвиньтесь, девочки, – скомандовал Трумен, – дайте наконец место Джерри. Джерри, знакомься: это мои лебеди.

– Я бы не сказал, что эта девушка похожа на лебедя, – возразил Джерри. – Скорее на раненую голубку. Как вас зовут, милый птенчик-выпавший-из-гнезда?

– О... Вы будете смеяться... – заколебалась Уна.

– Все-таки скажите.

– Уна. Это по-гэльски.

– Очень красиво – Уна. И это значит...

– ...Единственная, насколько я знаю.

– Ну да, как я сам не догадался, это ясно даже на слух. Уна = «One».

Капоте язвительно рассмеялся.

– Уна – это фея из кельтских легенд, – пояснил он. – Королева фей.

– Хм... И вы владеете колдовскими чарами? – спросил Джерри.

Тут как раз молодой официант принес выпивку. Я забыл сказать, что в этот день Франция была оккупирована Германией. В Париже, с учетом разницы во времени, немецкие войска маршировали по Елисейским Полям.

– Ну да, вот видите, – ответил Трумен, – по мановению Уны на столе появляется водка!

– И еще исчезают пепельницы... – добавила Уна.

– Эта клептоманка коллекционирует ворованные пепельницы, – хихикнула Глория.

– Куда только смотрит полиция? – подхватила Кэрол.

И тут Уна улыбнулась во второй раз за вечер. Когда Уна улыбалась, опустив веки, шум стихал. Казалось, будто кто-то приглушил звук остального мира. Во всяком случае, именно это ощутил Джерри: ротик Уны, контраст между красными губками и белыми зубками, высокие скулы, покрашенные бордовым лаком ногти в тон губной помаде цвета спелой вишни, – от совершенства девушки из высшего общества он абсолютно оглох. Брюнетка... что бы это значило? Почему при виде девушки, которую он не знал еще пять минут назад, у него заныло в животе? Кто бы запретил ей эту мину нашкодившего ребенка! Ему тоже захотелось позвать полицию.

Государству следовало бы не позволять женщинам так мастерски использовать свои веки. Джерри пробормотал себе под нос:

– Закон против Уны...

– Простите? Что вы сказали?

– Он брюзжит!

– Ха-ха-ха! Еще одна жертва Уны! – воскликнул Трумен. – Вы можете основать клуб на пару с Орсоном!

Трумен повернул голову к столику на другом конце буквы «Г», откуда Орсон Уэллс косился на них через плечо молодой женщины, похожей на Долорес дель Рио.^[29] На самом деле это была французская актриса Лили Дамита, которая на самом деле была женой Эррола Флинна,^[30] тогда занятого на съемках. (Абы кто не мог сидеть за столиком на другом конце буквы «Г».) Орсон Уэллс то и дело исподтишка поглядывал на девушек, особенно на Уну, и тотчас отводил глаза, если чувствовал, что любовница может застигнуть его с поличным. В двадцать пять лет знаменитый радиоведущий применял методу равнодушного красавца. С робкими девушками эта метода не срабатывает, тут, наоборот, нужен напор. Не обращайтесь внимания на гордячку – и она вас заметит. Но, игнорируя скромницу, вы тем самым оказываете ей услугу и никогда с ней не познакомитесь. Особенно если вы знаменитость, стало быть, страху нагоняете вдвое больше. Орсон Уэллс повернулся к Лили Дамита, которая, сидя напротив него, ела креп-сюзетт. Джерри Сэлинджер действовал иначе: он говорил очень тихо и монотонно, надеясь, что остальные за столиком его не услышат. Он обращался к Уне так, будто они одни на целом свете, и в каком-то смысле в тот вечер так оно и было.

– Уна О’Нил, вообще-то, ваше имя – аллитерация. Мне кажется, – продолжал Джерри, – ваш отец выбрал это имя, потому что оно созвучно его фамилии. Выбор нарцисса.

– Не знаю, он со мной не разговаривает после того, как я сказала в интервью одному журналу, что я «безбашенная ирландка». Он считает, что я плохо кончу. Пока, правда, у него самого дела плохи с тех пор, как он бросил пить. В последний раз, когда я его видела, у него дрожали руки.

Но у их соседей по столику были ушки на макушке.

– Уна хорошо кончит, потому что плохо начала, – сказала Глория. – Как и мы!

– Я вообще не знала своего отца, а ее отец умер, когда ей было полтора года, – добавила Кэрол, показывая пальцем на Глорию.

– А меня, – вмешался Трумен, – мать бросила, когда мне было два

года.

– А у меня, – отозвалась Уна, – когда мне было два года, свалил отец.

– Выпьем за Клуб Золотых Сироток! – заключила Глория, поднимая стакан.

Три девушки чокнулись с Труменом и Джерри, который почти устыдился того, что его родители все еще женаты. Их стаканы, столкнувшись, звякнули в точности как треугольник в третьей части Концерта для фортепиано с оркестром фа мажор Джорджа Гершвина.

– Имейте уважение, – сказал Трумен, – вам известно, что вы говорите с будущей Glamour Girl «Сторка»?

– О нет, сжальтесь, – взмолилась Уна, – не начинайте снова!..

– Поднимем бокалы за новую Зельду!

Уна снова зарделась, на этот раз от гнева. Ее выводила из себя эта краска, бросавшаяся в лицо всякий раз, когда они вновь пережевывали эту дурацкую историю. Завсегдатаи «Сторк-клуба» каждый год выбирали «Glamour Girl», и она попала в список финалисток. Она ни о чем не просила, но это тоже стало причиной того, что отец с ней больше не разговаривал. Надо ли почитать за честь быть избранной «Мисс Модный клуб»? Нет. Надо ли отказаться от этого титула, как будто он не имеет никакого значения? Тоже нет. Вот с какими дилеммами сталкивалась нью-йоркская золотая молодежь в 1940 году, когда красно-белый флаг со свастикой реял над Эйфелевой башней.

– Зельда Фицджеральд – не оскорбление, – сказала Уна, – но все же самое интересное в ней – книги ее мужа.

– Я поднимаю бокал за Фрэнсиса «Скотч» Фицджеральда! – воскликнул Трумен.

– А вы пишете, Джерри? – спросила Кэрл. – У вас физиономия писателя. Я их узнаю за десять миль. От этих гадких эгоцентриков, вдобавок чудовищно умных, надо бежать как от чумы.

– Вы находите, что у него очень умный вид? – хмыкнула Глория. – Он все больше молчит, не так ли?

А Джерри думал, что никогда не слышал подобного имени. Уна... Оно звучало как стон наслаждения. Ууу... и освобожденный крик: аaaa! А между двумя гласными согласная, напоминающая о луне: (л)ууна...^[31] Это имя завораживало так же, как та, что его носила. Джерри говорил себе, что вольно мужчинам расшибать себе лбы, пока есть на свете такие женщины, как она, чтобы подбирать их.

– Я... я никогда не видел пьес вашего отца, – сказал он Уне. – Но я знаю, что он наш лучший драматург.

– Не лучший, – поправил Трумен, – единственный! Первый, кто показал бедняков. Уж не знаю, стоило ли – все эти тоскующие моряки, проститутки с большим сердцем, маргиналы-самоубийцы... Тощица!

– После присуждения Нобелевской премии он – национальное достояние, – возразил Джерри.

Он об этом знать не знал, но хотел угодить дочери, встав на защиту отца. К тому же ему не нравилась беспочвенная агрессивность светского общества. Он находил, что куда лучше быть забавным, ни о ком не злословя; поэтому забавным он бывал нечасто.

– Зато плохой отец, – заключила Уна, выдохнув табачный дым в потолок, словно лежала на кушетке психоаналитика.

– Эти ирландцы все алкоголики, – фыркнул Трумен. – Попробуйте найти хоть одного непьющего ирландца!

– Чтобы писать, пить полезно, – заметила Кэрол. – Но для воспитания детей противопоказано.

– Я не знаком с его творчеством. Видите ли, мисс О’Нил, – продолжал Джерри смущенно, – моя беда в том, что мне не по себе в театре: всегда хочется кашлянуть, когда нельзя, и потом, мне всякий раз кажется, что мое кресло скрипит громче всех в зале... Не знаю почему, но мне никогда не удастся забыть, что я сижу перед людьми, которым платят за декламацию диалогов, и мне передается их мандраж. Так глупо... я боюсь за актеров, что они забудут текст.

– А они еще и брызжут слюной, – добавил Трумен. – В театре лучше избегать первых рядов или надо запастись хорошим зонтом.

– Прошу прощения, – сказал Джерри. – Я думаю, что... вам, должно быть, осточертели разговоры о вашем отце.

– Нелегко носить его имя, – согласилась Уна. – Я считаю себя скорее сиротой, чем «чьей-то дочкой». Странно быть сиротой при живом и знаменитом отце. Все говорят со мной о нем, как будто мы близки, а ведь за последние десять лет я видела его всего три раза.

Уна умолкла, смутившись, что поделилась столь личным с незнакомым человеком. Почувствовав замешательство подруги, Глория пришла ей на выручку. «Хай-де-хай-де-хай-де-хо!» – громко запела она. Оркестр наяривал *Minni the Moocher*,^[32] слишком, пожалуй, усердствуя на высоких нотах. От вибраций контрабаса дрожали обшитые красным деревом стены. В этой песне поется о проститутке и ее сутенере-кокаинисте. Отличный сюжет пьесы для мистера О’Нила-отца. Всегда забавно видеть, как буржуа подхватывают хором грубые слова. На семейных обедах в присутствии малолетних детей я порой улыбаюсь, когда все напевают *Walk on the Wild*

Side^[33] и ту-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ду Лу Рида (это история трансвестита на панели).

– Послушайте, – сказала Глория Вандербильт, – я не против унаследовать семейное состояние. Но я бы прекрасно обошлась без всего остального: фото, сплетен, жиголо, мошенников... What a mess!^[34] Трумен, любовь моя, закажи нам всем еще мартини с водкой, ради бога.

Семья Глории построила половину Нью-Йорка и отравила ее детство. Сделав знак метрдотелю, Трумен поспешил переменить тему. От неприятных разговоров Капоте шарахался как от огня. Вопрос выживания. Это делало его самым пленительным юношей в Нью-Йорке.

– Все эти девочки без отцов... – сказал он Джерри. – Должен же кто-то ими заниматься... Они бежали с Парк-авеню, чтобы учиться драматическому искусству. Девушки из Верхнего Ист-Сайда все рвутся в театр, потому что хотят быть любимыми, а те, кому полагается их любить, уехали на уик-энд в Хэмптонс.^[35]

– Мой отец в Париже, а мать в Лос-Анджелесе, – вставила Уна.

– Посмотрите-ка вон туда, на Орсона, – вмешалась Кэрол. – Боже мой, какой он мерзкий! Он никогда не играл О’Нила? А надо бы! Так и вижу, как он дубасит свою жену пустой бутылкой.

– А по мне, он почти красивый, – возразила Глория. – И я была в восторге, когда он убедил всех по радио, что на Бродвей напали марсиане.

– Не вижу в этом ничего сенсационного, – пожал плечами Трумен. – Марсиане нападают на Бродвей каждый вечер.

С восьми часов *post meridiem*^[36] Глория Вандербильт бросала «хелло» всем проходившим мимо красивым мужчинам. Если они отвечали на ее улыбку, она вставала из-за столика и направлялась к бару, откуда возвращалась с визитными карточками, передавала их от кресла к креслу и наконец забывала в белой пепельнице. То была большая честь, когда богатая наследница сидела на красном диванчике с компанией шумных друзей. Кэрол встала и пошла танцевать с Труменом. Оба были такими светловолосыми... Чтобы отыскать их в толпе танцующих, достаточно было следить за двумя язычками пламени, вспыхивавшими посреди танцпола, точно два блуждающих огонька на болоте.

Чтобы соблазнить девушку, которую вожделеют многие, надо убедить ее в том, что у вас есть время... хотя у вас его нет. Не бросайтесь на нее, уподобляясь всем остальным, но проявите интерес. Это игра тонкая и противоречивая. У вас есть всего две минуты, чтобы передать эти два меседжа: мне плевать, но мне не плевать. А вообще-то, если девушка

остаётся с вами больше двух минут, значит она выбрала вас, так что лучше молчите.

Уна украдкой покосилась на Джерри, который грыз ногти; она поняла, что он задаёт себе тот же вопрос: «Что я здесь делаю?» Они смотрели друг на друга, ни слова не говоря. Зеркало над баром использовалось двояко: чтобы шпионить за другими и проверять, в порядке ли причёска. Время от времени один из них открывал рот, чтобы начать фразу, но так ничего и не произносил. Другой тоже в свою очередь пытался, но ничего не выходило, разве что колечки дыма от «Честерфилда». Им бы хотелось сказать друг другу что-нибудь небанальное. Они понимали, что должны быть достойны друг друга. Что беседу ещё надо заслужить. Порой они обменивались междометиями, но львиную долю времени в свою первую встречу (добрых полчаса как-никак) провели, потягивая маленькими глоточками martini с водкой и внимательно вглядываясь в дно своих стаканов, словно искали там сокровище, или оливку, или немного храбрости.

— ...

— Хм...

— Я...

— ...

— Гм...

— Жарко...

— Да...

— ...

— Эта песня...

— *Smoke Gets in Your Eyes?*

— Может быть...

— Мм...

— ...

— ...

— Красивое название...

— О да...

— Здесь дым всегда застилает глаза...

— Лучше всего её исполняет Фред Астер... он танцует, будто скользит...

— Как по льду в лаковых туфлях...

— Мм... А знаете, что вы на него немного похожи?

— А?

— ...

— Вы так говорите из-за моего длинного лица.

- (Смущенная улыбка.)
- (Растерянный вздох.)
- Передайте мне пепельницу, пожалуйста...
- Держите...
- Это правда, мое лицо имеет форму земляного ореха.
- Да нет же, он очень красив, Фред Астер.
- Простите, что спрашиваю, но... Сколько вам лет?
- Пятнадцать, а что?
- ...
- ...
- ...ничего...
- А вам?..
- Двадцать один...
- ...
- ...
- Знаете...
- Что?
- Я молчу, но... мне не скучно.
- Мне тоже.
- Мне нравится молчать с вами.
- ...
- ...

Здесь я прекращаю фиксировать диалог двух рыб, а то читатель подумает, что я тяну резину ради лишних строк (это правда) и что он недостаточно получил за свои кровные (а вот это неправда). Как бы то ни было, я привожу в точности первый не-диалог между Уной О'Нил и Джеромом Дэвидом Сэлинджером. Сидя рядом лицом к залу, эти двое пребывали в таком ступоре, что не решались даже взглянуть друг на друга. Они смотрели на мельтешение официантов и слушали, как надывается оркестр под висящими над ним воздушными шариками. Уна теребила салфетку, Джерри принялся к своему стакану, как будто что-то смыслил в мартини, другой рукой вцепившись в подлокотник своего кресла, точно страдающий аэрофобией перед взлетом. Иногда он поднимал бровь или обе. Все знают, что такое «small talk»,^[37] а Уна и Джерри в этот вечер изобрели «silent talk».^[38] Многословное молчание, лакуна, полная недосказанного. Все вокруг них поднимали шум по пустякам, они же проявляли немое любопытство. Это не могло не раздражать – такая внезапная глубина среди нью-йоркского легкомыслия. Эти двое,

чувствовавшие себя одинаково неудобно, должно быть, испытывали облегчение оттого, что могли наконец помолчать в унисон. Компания вернулась за столик, устав от флирта и танцев. Трумен смотрел на Джерри с умилением и отпускал замечания вроде:

– Говорят, Орсон снимает фильм о семействе Херст.^[39] Ни одна газета про него не напишет!

– Кончайте пожирать ее глазами, darling. Это уже неприлично, попытайтесь хотя бы рот закрыть.

– Вы видели «Великого диктатора»? Чаплин уморителен, но странно было слышать его голос. Мне казалось, он должен быть ниже.

– Такая прелесть, когда он подражает немецкому, – вставила Кэрол. – «Und Destretz Hedefluten sagt den Fluten und destrutz Zett und sagt der Gefuhten!»^[40]

– А что это значит?

– Это не настоящий немецкий. Ты же у нас владеешь всеми языками, когда выпьешь.

– Если на то пошло, настоящий Гитлер тоже произносит свои речи на кухонном немецком. Поэтому никто не поверил тому, что он говорил.

Белокурая Кэрол слишком громко смеялась собственным шуткам, чтобы их услышали. Ей не нравилось, когда Уна пользовалась успехом. Она не хотела ее ни с кем делить, хотела держать при себе, как младшую сестренку, которой у нее никогда не было. Она заметно злилась, потому что нервным движением доставала пудреницу и прикладывала к лицу пуховку. А вот Глория радовалась, что она не единственная «чья-то дочка» за столиком. Таков крест дочерей знаменитостей: вместо того чтобы бесечно пользоваться их именами (в конце концов, родителей не выбирают), они чувствуют себя обезображенными своей фамилией, как изящная сумочка – крупным золоченым логотипом. Но три подруги знали, как себя подать: мужчин привлекала в первую очередь их наружность. Слава и богатство родителей были лишь вишенкой (отравленной) на торте их хрупких тел. Они продолжали перебрасываться шутками, а Джерри нахмурился. Не стоило быть ясновидящим, чтобы угадать его мысли: «Да что же такое в ней есть, в этой девушке, чего нет у других? Чем так восхитило меня ее детское личико? Почему я МГНОВЕННО запад на ее брови и ее грусть? Отчего я чувствую себя таким идиотом и мне так хорошо рядом с ней? Чего я жду, почему не возьму ее за руку и не уведу подальше отсюда?»

– Лично я у Чаплина предпочитаю Полетту Годдар, – сказала Глория. – До чего шикарная женщина!

– Он всегда был знатоком женщин и выбирал себе молоденьких, – пробормотал Трумен своими отсутствующими губами.

– А меня «Великий диктатор» не насмешил. Толпам в Европе при виде Гитлера не до смеха, – обронил Джерри Сэлинджер и тут же пожалел о своей неспособности быть легкомысленным. – Интересно, сам Гитлер его видел?

В следующую секунду он вскочил из-за стола и направился было к выходу, но, остановившись, с раздражением обернулся к Уне, точно актер Royal Shakespeare Company, готовящийся эффектно покинуть сцену.

– It was nice not-talking with you, Miss O’Neil. ^[41]

– Эй! Ночь еще молода! – воскликнул Трумен.

– Мне НУЖЕН блинчик креп-сюзетт СЕЙЧАС ЖЕ, не то я умру! – потребовала Глория.

– Nice not-to-meet you too, Jerry, ^[42] – тихо сказала Уна... (Чтобы скрыть бросившуюся в лицо краску, повернулась к подругам, а долговязый юноша шел к гардеробу, пытаясь отгрызть заусеницу на большом пальце левой руки.) – Странный он, этот дылда... Который час?

– Спать еще слишком рано, – ответил Капоте.

– Надо подождать, когда выпустят шарики, – подхватила Кэрол.

– There’s a great day coming маñana, ^[43] – грянул оркестр.

По воскресеньям в «Сторк-клубе» была «Ночь воздушных шариков»: в полночь, с последним ударом часов, девушки едва ли не дрались, чтобы проткнуть как можно больше шариков, падавших на их головы. Внутри некоторых скрывались бонусы на сюрпризы – украшения, безделушки, платые или шейный платок... Выигравшие визжали тогда еще громче, на грани оргазма, проигравшие не отставали, вопя от злости и зависти, после чего все топили эмоции в потоках виски. Надо бы возобновить эту моду на «шарики с сюрпризом», а то в наши дни не хватает шумных вечеринок. Сотня шариков, лопаясь, трещала как очередь из пистолета-пулемета МР-38, на время перекрывая звуки румбы. Самой разнузданной из трио была Кэрол. Стоя на столе, она готова была расцарапать, а то и укусить любого, кто преградил бы ей путь к Главному Шарику, который она вспарывала своими острыми как бритва ногтями. ^[44]

Дж. Д. Сэлинджер пешком вернулся к родителям – неподалеку от дома, где сорок четыре года спустя я жил у своего дяди Джорджа Харбена, на Риверсайд-драйв. Грустная улыбка Уны запечатлелась в его памяти и на каждом доме Парк-авеню. Он вглядывался в ее удлиненное лицо в витринах. Фред Астер, мать его. У него замерзла голова, потому что шляпу

он забыл в «Сторке», но ему было стыдно возвращаться за ней на глазах у всей компании. В следующие недели он заново переживал каждую секунду того вечера. Почему она пробыла с ним так долго? Почему он оказался способен говорить с ней лишь междометиями? Что ему надо было сказать, чтобы стать незабываемым? Уже у самого дома, роясь в карманах пиджака в поисках ключей, он нащупал что-то тяжелое. Кто-то сунул ему в карман белую пепельницу из «Сторк-клуба». Хотя это и был неодушевленный предмет, курящий аист в цилиндре вызвал у него улыбку.



II

Дочь нобелиата

Жизнь – это страх. Долгая агония от рождения до смерти! Жизнь – это смерть!

Юджин О'Нил. Лазарь смеется, 1927



Во Франции Юджин О'Нил слегка подзабыт. За что такое

пренебрежение этому хмурому и усатому драматургу, пересадившему скандинавский реализм на почву Соединенных Штатов? Оригиналы предпочтительней копий: Ибсен (норвежец) и Стриндберг (швед) первыми создали этот театр семейных сцен и метафизического выноса мозга. В «Кукольном доме» и «Фрекен Жюли» двери хлопают, как у Фейдо, но зрители смеются определенно меньше. Прочитав их со всем вниманием, Юджин О'Нил с 1917 года вывел на сцену душетравительные драмы, добавив ради пущего натурализма алкоголь, наркотики и проституцию. Декорации он выбирал особенно тщательно: действие происходит на китобойном судне, застрявшем во льдах Великого Севера, в грязном матросском баре, в туберкулезном санатории, посреди минного поля... Весь этот истерический фольклор, сеансы группового психоанализа, озлобленные монологи кажутся нам сегодня допотопными и напыщенными. А между тем без Юджина О'Нила не было бы Теннесси Уильямса. А значит, не было бы и Марлона Брандо. А значит, и Джонни Деппа, Шона Пенна, Райана Гослинга. Как видите, юные читательницы, прошлое тоже для чего-то может пригодиться.

Жизнь Юджина О'Нила – сплошная трагедия. Само собой разумеется, его искусство на него похоже. Если перечислить все его несчастья, невольно простишь ему угрюмый нрав. Родился он в Нью-Йорке в 1888 году, сразу после смерти старшего брата двух лет от роду (Эдмунда) от недолеченной кори. Его мать, Элла О'Нил, так и не оправилась от этой утраты, а после рождения Юджина стала морфинисткой: в ту пору врачи легко прописывали тяжелые наркотики, чтобы облегчить молодым матерям родовые муки. Его отец, ирландец, был актером, пил, чтобы забыть смерть старшего сына, и постоянно гастролировал, играя всегда одну и ту же роль (Эдмона Дантеса в «Графе Монте-Кристо»). В пьесе «Долгий день уходит в ночь» (1942) Юджин О'Нил описывает свою мать под кайфом, бродящую по дому со свадебным платьем в руках и оплакивающую минувшие счастливые дни. Ребенком он нередко бывал свидетелем такой сцены. В пагубном пристрастии матери Юджин винил себя: все детство отец твердил ему, что мать начала принимать наркотики сразу после его рождения. Юджин О'Нил пытался покончить с собой в 1912 году, в двадцать четыре года; его брату Джейми попытка удалась в ноябре 1923-го. Юджин стал пить виски наравне с отцом. А потом, в 1917 году, как-то вечером в Нью-Йорке, в задней комнате бара под названием «Hell Hole» («Адова дыра») на углу Шестой авеню и Четвертой улицы, он встретил вот эту особу:



Агнес Боултон, как и он, хотела стать писательницей. Пока же пописывала статьи в журналы и изредка пристраивала новеллку в стиле «pulp fiction».^[45] Юджина охватила нервная дрожь. Он сидел в углу бара и пожирал ее печальными глазами обреченного больного. Общая подруга их познакомила: «Это Джин О'Нил, драматург». Он продолжал смотреть на нее, не сказав ни словечка за весь вечер, и лихорадочно пил, описывая носком ботинка концентрические круги в опилках, которыми был посыпан пол. Когда Агнес собралась уходить, Юджин вызвался проводить ее пешком до отеля «Бревурт» в Гринвич-Виллидж. Заинтригованная его молчанием, она согласилась. Они молча шли в ночной темноте. У дверей «Бревурта» Агнес, вероятно, сказала что-то вроде: «Ну ладно, доброй ночи». Она на всю жизнь запомнила фразу, которую произнес в ответ Юджин О'Нил. Глядя ей прямо в глаза, он сказал: «Отныне я хочу каждую ночь моей жизни проводить с вами. Говорю это от чистого сердца. Каждую ночь моей жизни».

Агнес поверила ему. В том же году они поженились. Запомните хорошенько эту фразу: она срабатывает с романтически настроенными девицами, литераторами и теми, кто не дружит с головой. Ни к чему терять время и тянуть с признанием в любви. Этим двинутым надо сразу выложить свое желание, не то станешь бесполом приятелем и ловить будет нечего.

Юджин О'Нил не знал, но – быть может, из-за его детства – у него была идиосинкразия к отцовству. Узнав, что Агнес беременна, он запил и не просыхал все девять месяцев. Их дочь Уна родилась 14 мая 1925 года на Бермудах. Она унаследовала прямой носик матери и черные глаза отца. Юджин нашел ее очень красивой, но вскоре счел, что ее плач не дает ему спокойно писать. Для Джина О'Нила дети были препятствием творчеству. Творением, мешавшим творить. Беременная Агнес становилась ему соперницей, ибо он тоже должен был разрешиться своим произведением.

«К чему вынашивать детей? Зачем порождать смерть?» – пишет он в «Великом Боге Брауне». А этот монолог в «Первом человеке»: «К черту детей!.. Ненависть! Да, ненависть! К чему отрицать? Я должен сказать кому-нибудь... Это его я ненавижу, ребенка! <...> зачем тебе привносить в нашу жизнь это новое создание?» Конечно, это говорят театральные персонажи, отнюдь не выражающие личного мнения автора. Само собой разумеется.

Двое других детей Юджина О'Нила, сыновья (Юджин-младший, алкоголик, как его отец, и Шейн, наркоман, как его бабушка), в дальнейшем покончили жизнь самоубийством. Покуда Агнес была занята исключительно им, Юджин был счастлив. После рождения детей он думал лишь об одном – бежать. Юджин, которому в детстве не хватало любви всегда отсутствующего отца и пребывающей в нетях матери, воспроизвел в точности ту же схему со своим потомством. Мы не знаем, лечит ли от неврозов психоанализ, но доказано как дважды два, что драматическое искусство от них не помогает.

Добро пожаловать в семью Уны. Обещание, данное у отеля «Бревурт», Юджин О'Нил держал недолго. Он перестал видаться с детьми, после того как бросил Агнес ради некой актрисы, когда Уне было два года. В 1928 году он перебрался в Париж и там вторично женился. Он, правда, продолжал писать Уне, чтобы избавиться от чувства вины перед брошенной дочерью. Письма и фотографии, которые Юджин посылал ей из Англии, из Франции, из Китая, заклиная свою детку помнить его, можно считать современной и эпистолярной версией танталовых мук. За все свое детство и отрочество Уна О'Нил видела отца урывками лишь три раза. Она так любила его, что плакала всякий раз, узнавая на фото в газетах.

Самая знаменитая пьеса Юджина О'Нила, «Долгий день уходит в ночь», столь автобиографична, что он потребовал, чтобы она была опубликована только через двадцать пять лет после его смерти. Его вдова Карлотта, подсевшая на транквилизаторы, не стала ждать так долго: пьеса была поставлена через два года после кончины Юджина, в 1956-м. В ней он выставил напоказ свой семейный кошмар: отец, стареющий актер и алкоголик, мать-наркоманка, сын, неудавшийся актер, другой сын, моряк-туберкулезник. Дочь свою он там ни разу не упоминает. «Один, наедине с собой в ином мире... Как будто я иду по дну морскому. Как будто я давно уже утонул. Призрак, слившийся с туманом...» Как видим, Юджину от природы не дано было быть счастливым. В другой его пьесе, «Веревка», отец вешает петлю на балку в своем амбаре, чтобы сын на ней повесился.

Все люди откуда-то взялись: Уна О'Нил не знала иной фигуры

мужчины, кроме отца, сумрачного, одержимого прошлым, с его молчанием, тайнами и призраками. Человека, чьим любимым занятием было беречь свои раны. «Life is a lie», ^[46] – говорил он. «Жизнь – одиночная камера с зеркальными стенами». Образ яркий, но последствия его ужасны: Юджин О’Нил был заживо замурован в своем творчестве. В какой-то момент он мог быть добрым и ласковым, а в следующую минуту становился злым, язвительным, жестоким. Он подпитывался собственным отчаянием. Радость ухода открыл вовсе не Дж. Д. Сэлинджер, а, возможно, как раз Юджин О’Нил вслед за Эмили Дикинсон. Он одним из первых авторов в мире описал распад семьи, ставший западной нормой в следующем веке. Он увидел приближающийся конец этой структуры, которую христианское общество считало незыблемой. Страхи, алкоголь, одиночество, душевные раны – крупные козыри для писателя, но при этом серьезнейшие помехи для того, чтобы быть отцом семейства. Наверно, депрессивным писателям следовало бы запретить плодиться.

Будучи последователем скандинавов, Юджин О’Нил вполне логично удостоился шведской награды. В 1936 году Нобелевская премия по литературе была вручена прославленному современному драматургу, который уже трижды получал в своей стране Пулицеровскую премию: за пьесы «За горизонтом», «Анна Кристи» и «Странная интерлюдия» (в дальнейшем он получит еще одну, за «Долгий день уходит в ночь», посмертно).

В один из своих редких визитов в Нью-Йорк Юджин О’Нил пригласил Уну пообедать с ним и его новой женой. После обеда он покатал детей в большом «кадиллаке» по Центральному парку. Уне было шесть лет. Ее вырвало в новеньком автомобиле прямо на отца и мачеху. На протяжении всех тридцатых годов она пыталась связаться со своим гениальным отцом, о котором столько слышала от всех, а от него самого не дождалась и словечка. Ее многочисленные письма с просьбами о визитах, встречах, новостях эффекта не возымели: мачеха отвечала, что сейчас не время, что отцу надо сосредоточиться на работе, что у них в доме гости или же, когда они поселились близ Сан-Франциско, что «перемена климата не полезна для здоровья» и что «живут они в сельской местности, где ребенку будет скучно». Однажды Юджин О’Нил написал сам: «Мы слишком давно не виделись». Уне было тогда четырнадцать: действительно, с отцом она не встречалась восемь лет. Получив приглашение на обед в Тао-хаус, новое имение отца, Уна потеряла сознание за столом. В самом деле, он почти не видел дочь после развода. И когда Уна встретила кого-то, столь же знаменитого, как ее отец, кто говорил с ней и был не против, чтобы она его

слушала, она тотчас решила пожертвовать для него всем. Рецепт счастья очень прост: всего лишь вывернуть наизнанку несчастье.

Но до этого мы еще не дошли. Пока что Уне вот-вот исполнится шестнадцать, она проводит лето 1941 года с братом и матерью на побережье в Нью-Джерси, в местечке под названием Пойнт-Плезант, к югу от Нью-Йорка. Ее дед со стороны матери купил здесь старый трехэтажный дом на углу Хербертсвилль-роуд и Холл-авеню, среди сосен, у притока реки Манаскан. Здесь поселилась после развода ее мать. Уна росла в роскоши и меланхолии. Ее мать часто плакала, слушая Лину Хорн.^[47] Она утирала глаза, отвернувшись, чтобы Уна не видела, как она утирает глаза, отвернувшись. Здесь-то Сэлинджер и увидится с нею снова.

III

Душа несчастливой истории

Актрисы больше чем женщины, а актеры меньше чем мужчины.

Трумен Капоте

Если луна круглая и желтая, как ломтик лимона, значит вся жизнь – коктейль. Атлантические волны, мерно дыша, неустанно накатывались и разбивались о песок. Их влажный шелест заглушал звук шагов Джерри и Уны по дощатому настилу в направлении «Мартеллс Тики-бара». Молчание не так неловко на берегу моря.

Позвольте мне привести здесь фрагмент не изданной на нашем языке новеллы, опубликованной в журнале «Эсквайр» в 1941 году под названием «Душа несчастливой истории». Мне кажется, Дж. Д. Сэлинджер написал в ней то, что подумал об Уне О’Нил, когда впервые увидел ее. В этом тексте он впервые нашел ту интонацию, которую использует в романе «Над пропастью во ржи» десять лет спустя.

Ширли читала косметическую рекламу на стенке автобуса, а когда Ширли читала, у нее слабела нижняя челюсть. Вот в это мгновение, когда у Ширли открылся ротик и разомкнулись губки, она стала самой роковой из роковых женщин Манхэттена. Хоргеншлаг нашел эффективное средство против страшного дракона одиночества, терзавшего ему сердце все время, что он жил в Нью-Йорке. О, какая это была мука! Мука нависать над Ширли Лестер и не иметь права наклониться и поцеловать ее в разомкнутые уста. Какая невыразимая мука!^[48]

Повторение слова «мука» – это, возможно, наивная дань повторению слова «ужас» в финале «Сердца тьмы» Конрада.

«Душа несчастливой истории» представляет разные версии несостоявшейся встречи: фразы, которые влюбленный мужчина не способен произнести. «Чтобы написать историю о том, как парень

знакомится с девушкой, желательно, чтобы парень познакомился с девушкой». Здесь в одном из вариантов Джастин Хоргеншлаг крадет сумку Ширли, чтобы увидаться с ней снова, его арестовывают и сажают в тюрьму, он пишет ей из камеры пламенные письма, а потом во время мятежа заключенных погибает от пули караульного. Так представляет себе любовь Джерри в двадцать один год, когда ночами мечтает об Уне: любовь прекраснее, когда она невозможна, самая абсолютная любовь не бывает взаимной. Но то, что называют «ударом молнии», существует, это случается каждый день, на каждой автобусной остановке, между людьми, не смеющими друг с другом заговорить. Те, что любят всего сильнее, никогда не будут любить взаимно.

Мисс Лестер, для меня очень важно, что я люблю вас. Некоторые думают, будто любовь – это секс и брак, и поцелуи в шесть часов, и дети, и, наверно, оно так и есть, мисс Лестер. А знаете, что я думаю? Я думаю, любовь – это прикосновение и в то же время это не прикосновение.

Последнюю фразу трудно перевести. Сэлинджер пишет: *«Love is a touch and yet not a touch»*, и я не знаю, как передать это выражение. «Любовь – это взять и не взять»? «Дотронуться и не дотронуться»? «Познать и не познать»? «Любовь – это достичь, не достигнув»? Одно могу сказать наверняка: это одно из самых совершенных определений зарождающейся любви, и звучит оно лучше по-английски. Оно напоминает название романа Хемингуэя: *To have and to have not*.^[49]

Именно в «Душе несчастливой истории» Сэлинджер нашел этот стиль нежной самоиронии и впервые вывел своего героя – юного, потерянного, романтического и трогательного, который покорит читателей всего мира в пятидесятые годы. Еще до войны Сэлинджер вынашивал мысль о маленьком человеке в большом городе, о вечном подростке, растерянном и потерянном, эгоцентричном и прозорливом, бедном и свободном, робко влюбленном и во всем разочарованном, который стал абсолютным клише удела человеческого в западном мире двадцать первого века. (Сэлинджер был до крайности горд, что его новеллу напечатал Арнольд Гингрич в «Эсквайре»: он же опубликовал пятью годами раньше три автобиографических текста Скотта Фицджеральда, известные с тех пор под названием «Трещина».) Мы живем сейчас в сэлинджеровскую эру заносчивой неопределенности, обнищавшей роскоши, ностальгического

настоящего, конформизма, задолжавшего бунту. Нас томит бесконечная жажда радости, счастья, любви, признания, нежности. Эту жажду не утолить простым потреблением и не утешить религией. Джастин Хоргеншлаг так красиво признался в любви Ширли Лестер, но сначала он украл у нее сумку! Его письмо пришло из тюрьмы. И она не ответила. (В новелле она прислала вежливый ответ, но в конце мы узнаем, что ее письмо было вымышленным.)

Отныне мир населен страшно независимыми, закомплексованными, неудовлетворенными существами; влюбленными, неспособными любить, овцами, которые не желают быть овцами, однако щиплют травку, предаваясь фантазиям в стороне от стада; короче, идеальными клиентами для Фрейда, Будды, Fashion TV и «Фейсбука».

Джерри Сэлинджер не может предвидеть всего этого печального будущего, однако смутно чувствует приближение чего-то, когда летом 1941 года наносит визит подруге матери Уны О'Нил, Элизабет Мюррей, с братом которой он был знаком в лицее. Он хочет вновь увидеть Уну, ее ангельское личико, высокие скулы, лукавые ямочки и глаза испуганной лани. Его немного раздражает ее «глянец»: в «Сторк-клубе» Уну избрали-таки «Glamour Girl», ее фотография в окружении старичья при галстуках появилась на шестой странице «Нью-Йорк пост», что может быть вульгарнее? Это как если бы сегодня она согласилась поучаствовать в реалити-шоу. Затем «Debutante of the Year»^[50] позировала для рекламы, используя громкое имя своего отца: «Волшебный крем для лица „Вудбери“ позволяет Уне О'Нил сохранить всю свою прелесть и свежесть». Пресс-конференция в «Сторке» была одной из худших ошибок в жизни Уны. Шла война – а она позировала с огромным букетом алых роз. Шерман Биллингсли, хозяин «Сторка», сунул ей в руку стакан молока, чтобы не иметь неприятностей с полицией. Один не очень начитанный журналист спросил Уну, чем занимается ее отец... Не моргнув глазом, она ответила: «Он пишет».

Другой журналист: Как он отнесся к вашему избранию Дебютанткой года?

Уна О'Нил: Не знаю и не имею желания его об этом спрашивать.

Еще один журналист: Как вы оцениваете то, что происходит в мире?

Уна О'Нил: Сейчас, когда в разгаре мировая война, мне кажется неуместным высказывать свое мнение в ночном клубе.

Обнаружив ее фото в «Пост», отец сделал лишь одно публичное заявление: «Боже, избавь меня от моих чад!» Затем он написал письмо

своему адвокату (который выплачивал содержание Агнес О'Нил): «Уна – не гений, а всего лишь скверная избалованная девчонка, ленивая и пустоголовая, ничего пока не доказавшая, кроме того, что может быть глупее и невоспитаннее большинства своих ровесниц». А следом очень жестокое письмо Уне: «Вся эта реклама вокруг тебя дурно пахнет, если только ты не стремишься стать киноактрисой средней руки, помаячить пару лет на фото в газетах и кануть во мрак своей глупой и бездарной жизни».

Портрет не слишком лестный, тем не менее у Джерри вновь возникают проблемы с дыханием, когда он видит ее на пляже Пойнт-Плезант. Он знает, что она читала Фицджеральда, а как устоять перед хрупкой шестнадцатилетней брюнеткой, читавшей Фицджеральда? Она опять в черном, но на сей раз в брючках и кукольном трико – наряд, говорящий о том, что она не тратит три часа на обдумывание вечернего туалета. В присутствии этой девушки он становится астматиком. Они сидят в баре на берегу моря с Элизабет и Агнес, матерью Уны. От ее детской грации, стройной фигурки, молочно-белой кожи он скрежещет зубами. Он давно заметил, что всякий раз, когда его кто-то умиляет, будь то человек или котенок, он стискивает зубы до боли, как садист. Поначалу дело швах. Представьте себе, что вы it-girl из Нью-Йорка и ваша мать представляет вам долговязого доходягу, который шумно дышит и скрежещет зубами. «Мы уже встречались, вы меня не помните?» Нет, она не помнит их первую встречу в «Сторк-клубе». Вопрос, которого ни в коем случае нельзя задавать людям, много бывающим в обществе: «Ты меня помнишь?» Конечно, они не помнят, балда, они же знакомятся с тремя сотнями человек каждый вечер! Джерри убит. Пока дамы заказывают чай, он заводит речь о своей учебе в Колумбийском университете, о мастер-классе Уита Бернетта, главного редактора журнала «Стори».

– Ну и как же он обращается к своим ученикам, этот знаменитый Уит? – спрашивает Уна.

– Он приходит на занятия с опозданием, читает вслух новеллу Фолкнера и уходит раньше времени, – отвечает Джерри.

Очко в его пользу, ведь Уит Бернетт – друг отца Уны. Она в обиде на отца, который никогда ею не занимался, но не может совладать с болезненным любопытством ко всему, что его касается. Джерри нелегко себе в этом признаться: да, его влечет к Уне ЕЩЕ И ПОТОМУ, что она дочь одного из величайших ныне живущих американских писателей; это не делает ему чести, но к чему отрицать? Он возбужден, пылок, он боится робкого молчания прошлого раза и пытается произвести впечатление,

рассказывая о Бернетте, опубликовавшем в своем журнале его первую новеллу «Подростки».

– Сперва он кучу всего отверг. И вдруг – вот-те раз! – выдает мне двадцать пять долларов. Впервые я заработал деньги своей писаниной!

– Если кто-то платит вам за то, что вы пишете, значит либо он дурак, либо вы писатель, – роняет Уна со снисходительностью школьной учительницы, хвалящей хорошего ученика. – Особенно если этот кто-то зовется Уитом Бернеттом.

За месяцы, прошедшие между «Сторк-клубом» и пляжем Пойнт-Плезант, Джерри успел наверстать упущенное: прочел всего Юджина О’Нила. Он сплоховал, сделав Уне комплимент насчет ее «раздвинутых ножек» (хотел-то сказать «раздвинутые зубки»), и кончилось тем, что Уна опрокинула свой стакан с пивом на столик «Тики-бара». Он расхохотался, вытирая лужу рукавом рубашки. Впервые она спустилась на землю со своей луны. Они – двое инопланетян с застывшими минами: она надута, он напряжен. Мать и ее подруга допили чай со льдом, встают, пора домой. Наконец-то они посидят спокойно, выпьют спиртного тет-а-тет под мелодию Бенни Гудмена, льющуюся из потрескивающего радиоприемника. Она смотрит на его руки с длинными тонкими пальцами. Ей хочется потрогать одну из больших ладоней, лежащих на столе: они кажутся такими ласковыми, проверить бы, говорит она себе. В шестнадцать лет накрыть своей ладошкой руку парня ни к чему не обязывает. В сорок это куда серьезнее. Она уже готова это сделать, но тут он укоризненно хмурится:

– Извини, что я опять об этом, но... что это за фигня с «Дебютанткой года»? Ты дала согласие, чтобы «Сторк-клуб» делал на тебе свою рекламу?

– Э-э... Нет, то есть да, мои друзья все устроили... Я знаю, это смешно... Из-за того маскарада мой отец теперь думает, что я пользуюсь его именем забавы ради и чтобы меня везде приглашали... и это чистая правда! Он меня знать не хочет, так пусть хоть его имя мне пригодится, верно? Все равно он мне за всю жизнь и двух слов не сказал, так что, если он не будет больше со мной разговаривать, ничего не изменится. Вот, смотри, какое письмо он мне прислал.

Она достает из сумочки конверт, надписанный строгим каллиграфическим почерком – так пишет тот, кто хочет показать свою значимость даже формой гласных и согласных. Типичный конверт, который страшно вскрывать, потому что внутри наверняка налоговая ведомость или повестка в суд. Она зачитывает вслух: «Я не хочу видеть такую дочь, какой ты стала за этот год. Новости о тебе я теперь узнаю только из желтой

прессы». Уголки ее губ опускаются на сантиметр. Вскинув голову, она продолжает:

– Вот ты, будь у тебя дочь, написал бы ей такое?

– Не знаю, может быть, он нарочно так резок с тобой, чтобы ты не стала очередной светской шлюшкой. Это значит, что твоя жизнь ему небезразлична, хоть ты и думаешь иначе.

– Ничего подобного, он думает только о себе, я замарала имя О’Нил, на меня ему плевать с высокой колокольни, он боится, что престиж писателя будет запятнан в светских рубриках. Тебе не понять, до какой степени я ему безразлична, твои-то родители, наверно, до сих пор вместе...

– Если тебе это доставит удовольствие, я могу попросить их развестись.

Уна пожимает плечами. На Джерри серое пальто с бархатным воротником, оно называется «честерфилд», как сигареты и диваны. Оно ему тесновато, и руки торчат из рукавов: далеко не новое пальто. Но Джерри сейчас смелее, чем прежде: после публикации первых текстов он поверил в себя, чего ему так не хватало. Он воображает себя героем романа. Ну что, в омут головой? И он ныряет:

– Допивай свое пиво, Уна, закажи мартини с водкой, и поговорим о важных вещах. Я не хочу болтать попусту, я пытаюсь узнать тебя. Что произошло, черт возьми? Почему он поставил на тебе крест? Ладно, ушел от матери, но не бросать же из-за этого дочь. Вот что я тебе скажу: я думаю, что твой отец – великий трагик во всем, вплоть до семейной жизни. Для него уже нет разницы между жизнью и творчеством. Это видно в его последней пьесе: он пишет о себе, он использует свое несчастье – а значит, и твое, – чтобы родить произведение искусства. Короче говоря, он великий писатель и ничтожная личность.

Уна ошеломлена. Обычно все говорят ей об отце в хвалебных выражениях. Глаза ее наполняются слезами; зажав рукой рот, она вскакивает и выбегает из кафе (нет, она не бежит от Джерри, просто не хочет, чтобы он видел, как она разнюнилась). Джерри расплачивается по счету и выходит вслед за ней. Ловит ее за руку, она оборачивается, и... он обнаруживает, что плачет она красиво.

– Прости, – говорит он. – Я не хотел тебя обидеть... Хотя на самом деле нет, я хотел тебя обидеть.

– Нет... ничего страшного, ты прав, просто осточертело, что все мне только о нем и говорят.

– Ты сама о нем заговорила. Не сердись, что я интересуюсь Джином. Я... Мне любопытна ты. В этом нет ничего преступного, понимаешь? Ты

мне нравишься, вот и все. Если хочешь, я сейчас же уйду, и ты меня больше не увидишь. Скажи только слово, и я отвалю.

– Какое слово?

– Good bye.

– Это два слова. Останься.

Она понимает, что в очередной раз имеет дело с безутешным воздыхателем. Уна их не переносит, это худшая категория поклонников, хотя они единственные любезны. Остальные соблазнительщики делятся на следующие категории: бледный насильник с суицидальными наклонностями, опасный донжуан, фанфарон, похваляющийся своими прежними победами, агрессивный мямля, оскорбляющий вас, провоцируя облом, которого боится, антиэротичный весельчак и, конечно же, извращенец-нарцисс, самый несносный вкупе с тайным гомосексуалистом. Но безутешный воздыхатель хуже всех. «Как хорошо она улыбается сквозь слезы», – думает Джерри. Ему хочется до крови укусить ее за язык. Хочется запустить пальцы в этот невинный ротик. Хочется оципать эту бедняжку из хорошей семьи. Голос у нее сладкий, глухой, хрипловатый, меланхоличный. Она из тех девушек, что говорят, глядя на море. Лают чайки, я не шучу, в самом деле слышится «гау, гау», точно собаки проносятся на бреющем полете над пляжем. Подойдем же поближе и послушаем, что говорит Уна у кромки воды.

– Джин, то есть... мой отец... я его совсем не знаю. Клянусь тебе, я чаще видела его на фото, чем живьем. Его пьес я не читала. Когда все говорят мне о нем, я делаю вид, будто понимаю, о ком идет речь, но на самом деле я не знаю, кто этот человек, давший мне жизнь. Я ношу прославленное имя незнакомца, который позирует для газет и не может простить мне, что я делаю то же самое. Мне было два года, когда он уехал с Бермуд. Отвалил репетировать пьесу под названием «Странная интерлюдия»... Как же! Назвал бы ее лучше «Вечной интерлюдией»! Я всю жизнь чувствовала, что в тягость ему; он вообще не выносит своих детей, всегда считал нас бременем. Встреть я его сейчас на улице, даже не уверена, что он бы меня узнал... Ах, черт.

Она смотрит на Джерри, потом отводит глаза, и ее подбородок начинает неудержимо дрожать. Она зла на себя за то, что ей никогда не удастся не раскиснуть при упоминании об отце.

– Теперь ты понимаешь, почему я избегаю этой темы? – вздыхает Уна. – Это глупо, мне давно пора бы научиться держать себя в руках, ах, черт, неужели я так и буду мучиться из-за него всю жизнь?

– Не могу решить, какой ты мне больше нравишься – когда плачешь

или когда улыбаешься, – говорит Джерри.

– Надеюсь, что ты все-таки предпочтешь заставить меня улыбаться, – отвечает Уна, – иначе мы не поладим.

– А ты хочешь, чтобы мы поладили?

– Не беспокойся, Длинный Джерри, конечно же, мы ляжем в постель сегодня вечером: добьешься своего и переходи к следующей.

Она снова улыбается – язвительно. Она взяла верх. Джерри молчит. Сильна она, однако! Замкнута в своем сладком одиночестве девушки из high society, горда своим горем и своей средой. Ее манера лавировать между нежностью и цинизмом неотразима. Нарочно ли она это делает? Девушки ведь открываются и закрываются: главное – найти верный пароль. Чем они красивее, известнее и избалованнее, тем труднее расшифровать код. Их оболечение требует хитроумных приемов шпионажа, которыми Джерри овладеет лишь два года спустя, когда будет служить в разведке 12-го полка 4-й пехотной дивизии.

Они идут вдоль пляжа к пирсу. Атлантический океан по-прежнему рокошет и создает шумовой фон: очень удобно, чтобы заполнять паузы. Чайки хохочут, как будто насмеваются над этой столь неподходящей парой: длинный брюнет и крошечный эльф. Ветер несет песок, и он оседает на их волосах и ресницах. В фильме камера могла бы снять их длинным отъездом. Этот стилизованный прием, часто используемый Вуди Алленом, называется «walk and talk».^[51] К счастью, у Уны наконец-то вновь развязывается язык, потому что идти так долго, ничего не говоря, – это уже скорее Бергман.

– Слушай, – говорит Уна, – я тебе солгала, когда сказала, что не помню нашу первую встречу. Я знаю, кто ты: таинственный великан из «Сторка». Мы с Трио Сироток часто о тебе говорим. А Трумен прозвал тебя Тот-кто-уходит-не-дождавшись-счета.

– Эй! Но я думал, что патрон угощает!

– Ну да! Это я тебя дразню... Капоте обожает говорить гадости о тех, кто ему нравится, – так он выражает свои нежные чувства. А я прочла в «Стори» твою новеллу «Подростки». И подумала, что ты кое-что записывал на той вечеринке.

– Я кое-что записывал на той вечеринке.

– Я могу быть с тобой откровенна?

– Хм... Всегда немного тревожно, когда люди задают такой вопрос.

– То, что ты пишешь, забавно, но не вполне понятно, к чему ты клонишь. Это диалог глухих, парень и девушка ходят вокруг да около, но так и не встречаются, да? И что ты хочешь этим сказать? Разве только

оттоптаться на золотой молодежи и доказать нам, что богатенькие детки все дебилы, у которых только пьянка да кадреж на уме...

– Вот именно! Ты прекрасно поняла мой месседж.

– Ладно, но в таком случае Фицджеральд сделал это до тебя и гораздо лучше.

– Я ведь начинающий...

Джерри не в силах скрыть обиду. Он вздыхает, запускает руку в волосы, растопырив пальцы, как бы говоря: «Я выше всего этого», но Уна истолковывает его иначе: «Да кем она себя возомнила, эта девчонка?» Хлопают на ветру паруса Пойнт-Плезанта, перекрывая теперь лай летающих собак.

– Хорошо, – говорит она, – ты оттачиваешь перо. Только не дуйся, это уже большое дело – напечататься в твоём возрасте. Между прочим, Трумен позеленел, когда узнал, что ты его опередил, я уж думала, он подцепил гепатит. Знаешь, что он сказал? «Главное – не просто напечататься, но напечататься в „Ньюйоркер“».

– Капоте похож на эмбрион.

– (Заливисто смеясь.) Нехорошо критиковать тех, кто маленького роста!

– Я не критикую, а констатирую факт: это человеческое существо не завершено в развитии, если только он не тролль. Как тролль он вполне удался.

– Прекрати злословить о моем лучшем друге, мистер Я-ухожу-не-дождавшись-счета!

Так они продолжали разговаривать, шагая, и шагать, разговаривая. Джерри принес из буфета два пива и пакет попкорна. Они бросали его чайкам, и те хватали зерна на лету. Уна, громко смеясь, пила из бутылки, совсем как мать Джерри – отчасти ирландка, – и это, возможно, было одной из подсознательных причин его тяги к ней. В ирландках есть какая-то изюминка. Сексапильные, как англичанки, но живее, подлиннее, что ли, не такие снобки, не задирают нос. Смех громче, груди больше, веснушки на щеках. И быстрее пьянеют. Рядом с ними заиграла шарманка.

– Спасите! – воскликнула Уна. – Я ненавижу музыку из автомата!

Они ушли подальше от ящика с ручкой – далекого предка музыки техно – и приблизились к дансингу с цветными фонариками, где наигрывала свинг джазовая группа.

– Слишком жарко, чтобы танцевать, – сказала Уна.

– Распусти волосы.

– Если я их распушу, стану слишком красивой. А я не могу себе этого

позволить сегодня вечером.

– Почему?

– Потом они все захотят со мной переспать. Это испортит нам вечер.

Джерри был из тех танцоров, которым ноги мешают, поэтому танцевали они плохо, но танцевали долго. Секстет под цветными фонариками играл джаз, чередуя соло. Уна воткнула цветок в волосы. Волосы же Джерри слиплись от пота, как намаженные. Он снял пиджак, и их тела переплелись. В те времена танец был единственным легальным способом приблизиться к кому-то вплотную. Оркестр гроыхал громче океана. Танец освободил шевелюру Уны: узел распался, и волосы дождем рассыпались по плечам. Цветок упал на землю, и они безжалостно его растоптали, напевая: «*I can't dance, got ants in my pants*», что значит: «Я не могу танцевать, у меня муравьи в штанах» (приличия ради мы не станем переводить продолжение песенки:

Let's have a party,
Let's have some fun,
I'll bring the hot dog,
You'll bring the bun.^[52])

Усталые, но довольные, как будто вся их робость вышла потом, они присели рядышком за двумя бутылками уже теплого пива, и у обоих выросли пышные пенные усы.

– Ты не любишь нравиться? – спросил Джерри.

– Не люблю. Потому и нравлюсь.

Она смеялась собственным шуткам, но не из самодовольства, скорее боясь, что они не смешны. Джерри никогда не мог понять, шутит Уна или говорит искренне.

– Ты танцуешь почти так же плохо, как я, а это, видит бог, нелегко, – сказала она.

– Мне хочется тебя поцеловать, и я нарочно плохо танцую, чтобы быстрее сесть.

Уна сделала вид, будто не слышала, но через несколько секунд они уже стояли рядом на улице, обняв друг друга за талию. Уна раскритиковала его одеколон и стрижку.

– Ты только и думаешь, как бы соблазнить тысячи девушек, – фыркнула она.

– Ты выйдешь за меня замуж? – спросил Джерри.

– Ни за что на свете. Ты слишком молод!

– Посмотри, что у меня в кармане. Мне кажется, это твое.

Джерри сунул руку в карман пальто и достал пепельницу из «Сторк-клуба». Узнав ее, Уна расхохоталась еще громче и впервые за вечер покраснела. Джерри нахмурил брови, как полицейский:

– Мисс О’Нил, вы обвиняетесь в краже пепельницы из ночного заведения.

– Эй! Но выходит, что это не я ее украла: с этой фарфоровой штукой в кармане из «Сторка» вышел ты.

– Что делает меня укрывателем краденного. Спасибо за подарок. Не беспокойся, если бы полицейские меня задержали, я бы тебя не выдал. Один бы сел в Синг-Синг. Как ты думаешь, мне бы оставили пишущую машинку?

– Если ты угостишь меня сигареткой, мы сможем стряхивать пепел в эту емкость.

– Отличная мысль.

Чиркнула спичка: еще два красных огонька зажглись в вечернем сумраке. Джерри видел, что она не затягивается. Паузы становились все короче. Воздух был теплый, ночь накрыла пляж, над променадом один за другим гирляндой зажигались фонари. Они прошли мимо кинотеатра, где показывали «Унесенных ветром».

– Эй, – предложила Уна, – может, пойдём?

– Я уже видел, – ответил Джерри.

– Говорят, фильм лучше книги.

– Пф... Не вижу интереса сидеть три часа в темноте, когда можно смотреть на тебя. Ты лучше Вивьен Ли. Закрой глаза и представь, что я Кларк Гейбл, подаривший тебе смешную французскую шляпку.

– Ты знаешь, что Скотт Фицджеральд работал над сценарием этого фильма?

– Вряд ли они много от него оставили. Бедняга, знаешь, я очень горевал, когда он умер.

– Слушай, Джерри. Кажется, мне хочется, чтобы ты меня поцеловал, но при одном условии: чтобы никаких последствий.

– Скажи, я похож на человека, который несет бремя последствий своих поступков?

Он наклонился к ней, но не посмел дойти до конца. Она сама, привстав на цыпочки, преодолела остаток пути и вдруг почувствовала, что отрывается от земли, в прямом и переносном смысле. Они целовались, она парила, он держал ее. Головокружение было неожиданностью: этот первый

поцелуй мог бы отдавать остывшим табаком, но Джерри, зарывшись носом в душистые волосы Уны, навсегда сохранил его сладкий вкус, а она с силой выдыхала в его шею запах коричневого мыла. Когда два языка соприкасаются, бывает, что ничего не происходит. Но бывает, происходит что-то... О боже мой, происходит что-то такое, отчего хочется растаять, раствориться, как будто двое входят друг в друга, зажмурившись, чтобы все внутри перевернуть. Он прижимал ее губы к своим до потери дыхания. Когда он поставил ее на дощатый настил, у нее было только одно желание – снова взлететь.

– Все это совершенно нормально.

– Угу, совершенно. Может быть, еще попробовать?

Они попробовали, и это оказалось очень приятно. Они пробовали снова и снова. Каждый раз, когда он ее целовал, ей казалось, будто она взлетает, а ему – будто он падает. Истинно говорю вам: чудо, что они еще держались на ногах. Подвиг столь же исключительный, как и этот допотопный оборот в моих устах.

– Так-так. Чем смотреть по второму разу про Войну Севера и Юга, не пойти ли нам лучше к тебе – прикончить бутылку водки под пластинки Коула Портера? Чинно-благородно. Останемся в гостиной. Твоя мама уйдет спать, а мы потанцуем под *Moonlight Serenade*.

– Между прочим, *Moonlight Serenade* – это не Коул Портер, а Гленн Миллер. Во-вторых, у меня дома нет водки, только белое вино. И в-третьих, я тебе соврала, когда сказала, что лягу с тобой.

– Я знаю, Симпатичная Покойница за Шестым Столиком.

– Как? Что ты сказал?

– *The Lovely Dead at Table Six* – так называется новелла, которую я сейчас пишу. Надеюсь, что «Ньюйоркер» ее примет.

– Ты сумасшедший.

– Знаю. Есть хочешь?

– Никогда.

– Почему я?

– Прости, что?

– Почему ты выбрала меня? Весь Нью-Йорк у твоих ног.

– Я тебя не выбирала, я дала тебе волю, это другое дело. Прекрати дуться. Поцелуй меня еще, пока я не передумала.

Напомню на всякий случай – но это маленькое отступление немаловажно, – что в тот вечер Черчилль заклинал Рузвельта вступить в войну, чтобы взять в клещи наступавшего на Россию Гитлера.

В гостиной старого дома в Пойнт-Плезант Джерри и Уна придумали

новую игру – следовать песням. Например, слушать *Night and Day* «Only you beneath the moon and under the stars»^[53] под луной и звездами, *Smoke Gets in Your Eyes*, выдыхая дым сигарет друг другу в глаза, *Cheek to Cheek*, прижавшись щекой к щеке, и т. д. К счастью, у Уны не было пластинки *Stormy Weather*.

Мать Уны, Агнес Боултон, была очень либеральна, доверяла дочери, да и вообще не имела над ней никакой власти. Подобно многим матерям, которые развелись в ту пору, когда никто этого не делал, она чувствовала себя до того виноватой в крахе своего брака, что позволяла дочери все. Джерри не мог опомниться: он здесь, в гостиной в темных тонах, с той, чье имя у всех на устах, Уной О’Нил, проводит часы наедине с самой прекрасной девушкой Нью-Йорка, и она, держа бокал в белой ручке, смотрит на него, слушает его, отвечает ему. Он знал, что это редкое везение, которое, быть может, никогда больше не повторится (и в каком-то смысле он был прав, потому что тот вечер действительно никогда не повторился).

– Но почему ты мне ни разу не позвонил? – спросила Уна.

Джерри не мог ответить, что в его студенческой комнатухе нет телефона.

– Я хотел написать тебе письмо, прочитав которое ты бы влюбилась в меня, – сказал он.

– Прекрати надо мной издеваться.

Временами ему казалось, что он понимает ее все лучше, что в самом деле нравится ей, а потом вдруг – бац! – она замыкалась на добрых полчаса, отказывалась целоваться, и слова из нее нельзя было вытянуть, кроме: «человеческое тело внушает мне отвращение», или: «все равно ты такой же, как все», или еще: «тебя во мне интересует только мой отец» (на что он возражал, что единственный шедевр Юджина О’Нила – это его дочь). Она испытывала его терпение, и это было ужасно: иногда внезапно, как в свое время в «Сторк-клубе», ему хотелось встать и вернуться в одиночестве домой, он чувствовал себя Большим Неуклюжим Олухом. Не Тем-кто-уходит-не дождавшись счета, а скорее Мужчиной-звереющим-от-маленькой-стервы-смешавшей-его-с-дерьмом. И всякой раз, спохватываясь, что зашла слишком далеко, Уна вновь становилась шелковой, ласковой и милой. Контрастный душ называют шотландским, но изобрели его наверняка в Ирландии.

– Я не хочу жить уготованной для меня жизнью, понимаешь, Джерри? По-моему, жизнь избранных... Нет, это невозможно, я не смогу, я хочу другого. Если это и есть жизнь, то... этого мало.

– Чего же ты хочешь?

– Я хочу быть самой счастливой девушкой на свете.

Уна произнесла эту фразу так, будто сказала: «Приговоренному к смерти голову с плеч». Это был вердикт, обжалованию не подлежащий.

– Я начинаю играть в театре, ты знаешь? – продолжала она. – Меня заметила Шерил Кроуфорд, директриса театра «Мэпплвуд». Отсюда все и пошло: Дебютантка, Glamour Girl... это как когда мы с тобой давеча целовались, меня куда-то несет, а я не против. Смешно, я знаю, но все же лучше, чем продолжать изучать глупости, которые мне никогда в жизни не пригодятся.

– В сущности, ты всего лишь старлетка...

– Ох, заткнись, Проклятый Поэт! Нет, я просто боюсь этой долгой жизни впереди, я не знаю, что с ней делать. Мне кажется, будто я стою над пропастью. Вот ты точно знаешь, зачем тебе твоя жизнь?

Она стояла, облокотившись на парапет над реющим океаном, и словно вглядывалась в свое бесконечное будущее, словно океан был грохочущим грядущим и оно обрушивало на нее злые волны, вздымая гребни пены.

– Да, я знаю, что хочу написать Великий Американский Роман, – сказал Джерри. – И ничего другого мне не надо. Я хочу соединить эмоции Фицджеральда, лаконичность Хемингуэя, неистовство твоего отца, четкость Синклера Льюиса, цинизм Дороти Паркер...

– Ты, однако, высоко метишь.

– То-то и оно: скромнику лучше избрать другое ремесло, не писательское.

– И все-таки ты забыл упомянуть лучшую.

– Кого?

– Уиллу Кэсер. [\[54\]](#)

– О да. Я самонадеян, но не до такой степени! Она и сестры Бронте непревзойденны.

– Ты будешь писать для меня роли?

– Да. Роли злой девчонки, которая не знает, чего хочет в жизни. Я не удивляюсь, что ты хочешь играть в театре, ты ведь отлично ломаешь комедию.

– Вот как?

– Да; ты прикидываешься простушкой, а на самом деле ничего подобного.

– Дурак! Я просто не люблю дуться, как ты.

– Твоя грусть... она все-таки прорывается, всегда находит выход. Вот в чем твоя прелесть: ты все время улыбаешься, но твои глаза зовут на

помощь.

Уна переменила тему. Не девушка, а боевая машина. Ужас, подумать только, до чего несправедливо, что шестнадцатилетние девушки всегда более зрелы, чем парни двадцати двух лет.

– Чтобы писать, тебе надо будет найти спокойное место за городом, – продолжала Уна. – Вот мой отец пишет в хижине в дальнем углу своего сада.

– Да ну?

– Конечно. Он терпеть не может журналистов и нигде не бывает. Писатель не живет светской жизнью, он запирается в своем домике и работает, иначе это не писатель, а шут гороховый. Выражение «нью-йоркский писатель» – оксюморон.

Она не сводила с него оценивающего взгляда. Всегда наступает момент, когда влюбленный мужчина чувствует себя как безработный на собеседовании. Он пытался зарабатывать очки каждой фразой. Улыбка Уны была для него все равно что выигрышный билет в лото. Ему приходилось сдерживаться, чтобы не закричать «Йесс!». Она отшвырнула сигарету в сад: через несколько секунд было уже невозможно различить ее в траве среди светлячков, превративших газон в галактику.

– Это нормально, что ты задаешься вопросами о своем будущем, – сказал Джерри, – но я-то не могу позволить себе такой роскоши. Ты забыла о войне. Наша страна посылает в Европу деньги и оружие, но этого мало, скоро начнут посылать людей, и меня убьют.

– Ты пойдешь на войну, солдатик? Защищать свободу? А вот мне плевать, свободна я или нет. Свобода меня не интересует. Я за рабство.

– Кончай пороть чушь, ты пьяна, что ли?

– О’Нилы никогда не пьянеют, – изрекла она, подняв указательный палец правой руки и бутылку в левой. – Ладно, не спорю, чуть-чуть. Откроем еще бутылку... и выйдем за солдааата свобооды.

– Если будет война, я не стану отсиживаться у родителей, это точно.

– Ты мой герой. Я провожу тебя до парохода и помашу с пристани кружевным платочком.

На этот раз ее головка нежно прижалась к подбородку Джерри. Он пытался выглядеть твердыней, хотя чувствовал себя таким же хрупким, как эта шестнадцатилетняя нимфетка с неразрешимыми вопросами. Каждый раз, обнимая ее за талию в танце, он словно нажимал на выключатель: его ладонь на черной шерсти автоматически приоткрывала губки Уны, и чем крепче он сжимал ее бедро, тем шире раскрывался ротик. Очень удобная система. На улице пахло хот-догами, жареной картошкой, йодом морских

водорослей, субботним вечером. Как милы эти двое, и до чего же мне нравится вообразать их на террасе старого дома в Нью-Джерси, под луной, дробящейся вдаль в океане... а я пишу, сидя по другую сторону океана, в Биаррице. Они прямо напротив, и я не могу на них насмотреться, пусть семьдесят лет отделяют меня от этого вечера 1941 года, пусть между нами Атлантический океан, пусть их нет в живых, я вижу, как они кружат в танце и целуются, словно кусают спелые плоды, истекающие соком... Целоваться и ссориться – таков секрет счастья. «Love is a touch and yet not a touch».

Любовь – это иметь и не иметь. Когда Вертер случайно касается ножки Шарлотты, он делает это не умышленно: это, так сказать, считается и в то же время не считается. Любовь рождается от невольной ласки, от неподвластного нам движения. Это как говорить с кем-то по телефону: человек здесь, хоть его и нет.

Любовь – это делать вид, будто вам плевать, хоть вам и не плевать. Искать себя, не находя. Такая игра, если усвоить ее правила, может занять целую жизнь.

Они танцуют медленный фокстрот. Редко бывает, что двое в медленном танце хотят одного и того же: обычно один из двоих хочет переспать с партнером, а тот вежливо дожидается конца песни, отворачивая голову...

Произошло странное событие. Описывая Джерри Сэлинджера и Уну О'Нил в Пойнт-Плезант, я решил передохнуть, включил телевизор и... что же я вижу? Пляж Пойнт-Плезант – опустошенный. Ураган «Сэнди» пронесся по этим местам. Доски настила, на котором Джерри поднимал Уну, разлетелись, как соломинки, и попадали кучами, как палочки в игре микадо, бассейны при коттеджах засыпаны песком, большое колесо упало на пляж, а лодки вынесло на крыши домов, забросило в сады, рядом с голубыми горками и поваленными деревьями; машины, поднятые водой на два метра, въехали в гостиные через окна; улицы превратились в озера. Посреди круглой площади стоит рояль, опрокинутый контейнер перекрыл дорогу. Все автомобили стали субмаринами, столбы линии электропередачи переломаны как спички. Странное совпадение: как раз когда я решил рассказать об «ударе молнии» в Пойнт-Плезант, на него обрушился циклон. В октябре 2012 года от антуража лета 1941-го ничего не осталось.

Через несколько часов, за которые опустели две бутылки белого вина и пачка сигарет, закружились обе головы, Джерри и Уны. Так часто бывает, когда влюбляешься впервые в жизни. Чувствуешь себя до того хорошо, что иссякают силы, и вдруг становится страшно оказаться не на высоте: вот тут-то и надо уйти. Уна заговорила, снова торжественно подняв вверх

указательный палец.

– Солдат Сэлинджер, я никогда никого так не боялась, – сказала Уна. – У тебя лицо убийцы.

– Ты права: я тебя задушю, чтобы потом сожалеть о тебе... и томиться. Я обожаю томиться, это мое любимое занятие. Все мое детство прошло за ним. Я ни от кого не слышал похвал, когда был маленьким мальчиком, разве только «у него крепкие ноги».

– Это правда, у тебя крепкие ноги. А мы можем томиться вдвоем?

– Конечно. Добро пожаловать в Клуб Томящихся.

Под ее мраморной кожей пульсировали органы, текли по сложному переплетению труб и трубочек кровь, желчь и кислота, трепетали мускулы, нервы и кости за этим лицом; ему хотелось очистить ее, как грушу, увидеть обнаженные вены, изуродовать этого ангела, чтобы не быть больше пленником ее лица, сжевать, как резинку, ее живую плоть. Бесспорно, не стань Джерри писателем, он мог бы сделать блестящую карьеру серийного убийцы. (Он, кстати, кое-кого из них вдохновил.)

– Я тоже люблю томиться, – вздохнула Уна, крутя в руках бокал. – Когда ты уедешь на войну, я буду томиться в вечернем платье. Буду сидеть, вся такая строгая, с поникшей головой, и все станут меня утешать. Мой взгляд будет устремлен в пустоту, и доктор пропишет мне двууглекислый... как его... в общем, питьевую соду. Ах ты, паршивец, как же мне не терпится стать твоей вдовой!

Совершенно пьяные, они открыли друг в друге общую склонность к мрачному. Никто в ту пору слыхом не слыхал о готском юморе; Курт Кобейн и Мэрилин Мэнсон (два будущих читателя Джерри) еще не родились. Уна умела говорить странные вещи так, чтобы ни один мускул не дрогнул на ее лице. В конце концов, она была, возможно, права, готовясь в актрисы.

– Я произнесу душераздирающую речь на твоих похоронах, – продолжала Уна. – Тебя наградят посмертно. Все будут восхищаться моим верным сердечком. Сочувственно пожимать мне руку. Как же мне не терпится оросить слезами твою могилу, Джерри. А потом я выйду замуж за богатого бразильца, и в обмен на комфорт, который он мне обеспечит, ему достанутся моя юность и интеллектуальная аура дочери нобелиата..... (Десяти многоточий недостаточно, чтобы выразить последовавшее за этим неловкое молчание.)

– Ты все-таки мерзавка. Ах, как бы мне хотелось избавиться от твоего присутствия в моей жизни. Мне каждую ночь снится дивный мир, в котором ты не родилась. Каждая секунда моего существования стала адом,

с тех пор как я встретил тебя.

– Спасибо. Скорей бы война!

– Выпьем за войну!

Они чокнулись, еще не зная, что их мрачные пожелания вскоре превзойдут все их надежды – хотя тут уместнее безнадежность. Потом Уна поставила бокал и едва не задушила его двумя руками, глядя немигающими глазами, точно оголодавшая.

– Готово дело, я достаточно выпила, чтобы говорить с тобой откровенно. Давай же... скажи это... я знаю, что ты хочешь сказать мне одну вещь и не решаешься уже несколько месяцев... давай... я помогу тебе... повторяй за мной... «I love you, Уна»... смелей, я привыкла... тебе пойдет на пользу... всего четыре слова... I, love, you, Уна.

– Я люблю тебя, Уна. Вся моя жизнь летит в тартарары. Это самоубийство – любить тебя, Уна. Я погиб, пропал ни за грош. Никто никогда не был так счастлив и так жалок. Ты создана мне на погибель. Пусть бы лучше мне отрезали обе ноги, лишь бы не встретить тебя на своем пути.

– Ну во-о-от. Хорошо... тебе полегчало... а теперь слушай меня хорошенько. Я принимаю твою любовь... я буду ее бережно хранить... смотри мне прямо в глаза... я не умею любить, но готова позволить любить себя тебе, и только тебе, сейчас скажу почему: потому что ты слушаешь меня с таким проникновенным видом, когда я несу чушь.

– Из меня тоже вышел бы актер! По рукам. Однажды я напишу лучший роман двадцатого века. А пока я все беру на себя, little Уна. Любить тебя легко. Это так, и ничего тут не поделаешь. Это даже надо бы вменять в обязанность.

Она поцеловала его, закрыв глаза и тесно прижимаясь, пожалуй, чересчур неистово. Я полагаю, что романист-профессионал описал бы здесь окружающий их приморский пейзаж, и ветер, и облака, и траву в росе, но я этого не делаю по двум причинам. Во-первых, потому, что Уна и Джерри плевать хотели на пейзаж; во-вторых, все равно ничего не было видно, еще не рассвело.

– Как чудно... Когда ты меня целуешь, у меня кружится голова, как в лифте, когда он поднимается на верхний этаж Эмпайр-стейт-билдинг...

– Это потому, что ты пьяна, дорогая. А ты знаешь, что если бросить пенни с крыши Эмпайр-стейт-билдинг, он долетит донизу на такой скорости, как если бы весил двести кило? Пенни может убить прохожего, даже не верится, правда?

– О боже, голова кружится, я, кажется, сейчас упаду в обморок...

К горлу Уны вдруг подкатила тошнота, она вскрикнула «oh my God!», бросилась в дом, взбежала по лестнице, зажимая рукой рот, и закрылась в ванной на втором этаже. Мешать водку с пивом и вином не рекомендуется в первый вечер, но молодые люди могут этого не знать, даже если они ирландского происхождения. Сверху из-за двери Джерри услышал не самые романтические звуки. Он вошел и оказался один на первом этаже в темной гостиной. Провел рукой по корешкам французских романов в книжном шкафу, коря себя, что сболтнул эту чушь про пенни. Уйти, остаться? Он не знал, как помочь Уне, не показавшись навязчивым. До него донесся ее хрип: «Мой отец – Эмпайр-стейт-билдинг!» Проснулась ее мать и, выйдя из своей спальни, прошла к ней в ванную. Он слышал, как они там разговаривали.

– Уна? – крикнул Джерри, подходя к лестнице. – Хочешь, я почищу тебе зубы?

После очень долгого ожидания – успели запеть дрозды на деревьях – к нему спустилась Агнес, мать Уны.

– Уна неважно себя чувствует, я думаю, вам лучше уйти, она не хочет, чтобы ее видели в таком состоянии.

И Джерри оказался за закрытой дверью, едва успев сказать: «Мне очень жаль, пожелайте ей от меня доброй ночи, мое почтение, мэм». Перед тем как захлопнуть дверь, экс-миссис О’Нил (от которой тоже пахло спиртным) миролюбиво добавила:

– Я дала ей соды. Это от всего помогает, знаете ли, зубы отбеливает, для пищеварения полезно, я даже делаю из нее маску для лица. Уна еще дитя, you know. Она строит из себя светскую женщину, но на самом деле это просто младенец, с ней надо обращаться очень бережно. Договорились?

– Конечно договорились, но я...

Дверь захлопнулась, прервав его лепет.

Как будто он виноват, что она может преодолеть свою робость, лишь будучи мертвецки пьяной. Он-то полагал, что ирландка должна уметь пить. Уна ухитрилась заставить его забыть, что ей всего шестнадцать. Джерри заметил, что уже рассвело. Летом на пляжах Нью-Джерси ночи коротки; солнце заходит; несколько бокалов – и оно всходит вновь. Здесь кто-нибудь вроде Сильвии Плат^[55] добавил бы светочувствительную фразу типа: «Рассветное солнце, такое простое, сияло сквозь зеленую листву растений в маленькой оранжерее, и цветочный узор на обитом ситчиком диване был наивным и розовым в утреннем свете». Люблю эти паузы, дающие читателю время передохнуть, выпить или сходить в туалет. Ах, если бы только я мог писать так. Но я скажу только, что первый луч солнца был

фиалкового цвета и это было чертовски красиво.

Бредя в одиночестве под смутный ропот волн по променаду Бредшоу-Бич, мимо закрытого кинотеатра, Джерри думал о том, что никогда уже не будет так счастлив, как в эту ночь. Совершенно состоявшаяся встреча – сколько раз в жизни такое бывает? Однажды. Только однажды, и вы это знаете не хуже меня.

Джерри почесывал голову, повторяя вслух один и тот же вопрос: «Во что я вляпался, боже мой?» Он шумно дышал и хмурил брови. Поцеловать девушку, которую боготворишь больше всех на свете, – конечно, победа, но если девушку тут же рвет, как прикажете это понимать? Быть может, это доказательство того, что он не оставил ее равнодушной. Взбаламутил во всех смыслах слова. Или же он ей противен, и с этого дня имя Джерри Сэлинджера станет синонимом тошноты. Он не знал, надо ли надеяться, что она все запомнит, или пусть лучше забудет завтра же. Влюбиться – значит нажать на свою голову новую проблему, требующую решения. Позвонить ей, написать письмо? Как увидеться с нею вновь, не показавшись назойливым? Как снискать восхищение балованного дитятка, которым восхищается Весь-Нью-Йорк? Джерри вступил в войну задолго до своей страны.

IV

The toast of cafe society [\[56\]](#)

Говорят, что можно убить человека, отняв у него первую любовь. Эта утрата изменяет вашу внутреннюю химию.

Кэрол Маркус Маттау

По возвращении в Нью-Йорк Уна ничего не забыла, но делала вид, будто не помнит, чем кончился вечер в Пойнт-Плезант. Джерри же никогда об этом не заговаривал. Они провели осень и зиму сорок первого флиртуя, и о ее желудочном недомогании речи не заходило. Впервые и он, и она считали себя парой, однако за руки при друзьях не держались.

Первая любовь редко бывает самой удачной, самой совершенной, но она остается... первой. Это бесспорный факт: ни один из двоих никогда не забудет первых встреч. Джерри ждал Уну после уроков в Бреарли-скул, они гуляли по Центральному парку или оказывались в гигантской квартире Кэрол Маркус на углу Парк-авеню и Пятьдесят пятой улицы, ходили в кафе, в магазины игрушек, в кино. У них всегда был шестой столик в «Сторк-клубе», их скамейка на Вашингтон-сквер, любимый книжный магазин («Стрэнд» на Четвертой авеню), где они крали подержанные книги и зачитывали вслух фразы, подчеркнутые предыдущими читателями. Прижавшись друг к другу, они кормили белок, целовались понемногу или читали журналы о кино. Надо действительно быть очень влюбленными, чтобы вынести чтение журнала вдвоем; это немного похоже на то, как пара в двадцать первом веке смотрит вместе телевизор, и не важно, в чьих руках пульт. Они покупали пакетики жареных каштанов, выходя из универсального магазина Бендела с полными карманами краденых мелочей. Только от шестнадцати до двадцати двух лет можно любить по-настоящему. Любовь абсолютная, ни малейшего сомнения, ни малейшего колебания. Так любили Уна и Джерри, не раздумывая, с распахнутыми глазами. Порой его рука пробиралась под ее платье и гладила юные грудки через бюстгальтер до тех пор, пока она не молила прекратить, а сама целовала его, зажимившись и обнимая так крепко, будто хотела продолжения.

– Я никогда никого не любил до тебя, – говорил он.

– Не говори о том, чего не знаешь, – отвечала она.

Он читал ей свои первые новеллы: «Повидайся с Эдди», «Душа несчастливой истории», «Затянувшийся дебют Лоис Тэггетт». Она рассказывала ему о роли инженеру, которую ей предстояло сыграть в «Приятеле Джои», музыкальной комедии, ставшей фильмом после войны, в пятьдесят седьмом («Блондинка или рыжая»^[57] с Фрэнком Синатрой, Ритой Хейворт и Ким Новак). Они делились всем, говорили о своих братьях и сестрах, жаловались на родителей (которых было слишком много для него и слишком мало для нее). Они не занимались любовью, но, когда спали вместе, в пижаме и ночной сорочке, долго, до пота, прижимались друг к другу. Уна отказывалась снять трусики, и Джерри кончал в штаны, сдерживая стон. Он берег ее девственность. «Дитя не может позволить себе забеременеть», – постоянно твердила она. Он млел уже оттого, что мог держать ее в своих объятиях, раздвигать кончиком языка алые губки, гладить шелковистые волосы, почесывать голую спину, раздвинутыми пальцами изображая паука, взбирающегося по позвоночнику, часами чувствовать всей кожей ее трепещущее тело и шеей – ее дыхание. Какая роскошь! Оставаясь целомудренными, Джерри и Уна были очень чувственны; это трудно понять в двадцать первом веке, когда совокупляются вместо «здрасте», но им хватало этих незавершенных ласк. Спешить некуда; она была слишком молода для замужества, а он притворялся пресыщенным, чтобы не давить на нее. Она вздыхала, приоткрыв ротик, под его ласками, он смотрел на нее спящую, считая родинки на спине и белых руках; любоваться ее родинками было для него все равно что смотреть на звезды в небе: он словно отступал перед высшей тайной. Джерри был красив, ему бы ничего не стоило потерять невинность с другими, не столь неприступными девушками, но он предпочитал лелеять эту инфантильную старлетку. То, как она сопротивлялась его желанию, было в тысячу раз эротичнее любой ночи с грудастой шлюхой по имени Саманта.

Какая информация о сексе имелаась в Нью-Йорке в сороковом году? Ответ прост: никакой. Ни эротических картинок, ни порнографических фото, ни «жестких» фильмов, ни сексуальных романов. Доступ к какому бы то ни было познанию плотских отношений отсутствовал. Это главная перемена, если сравнить Нью-Йорк сороковых с Нью-Йорком сегодняшним, где подростки имеют неограниченный, свободный и бесплатный доступ ко всей на свете порнографии. Несмотря на всю тягу друг к другу, Джерри и Уна были совершенно скованны в постели, потому

что никто не объяснил им, что такое секс и как выйти из этого кошмарного любовного столбняка. Слишком уважая Уну, Джерри не смел перейти грань, она же, со своей стороны, слишком робела, чтобы поощрять его (и к тому же очень боялась забеременеть).

Они не могли видаться у Уны, которая жила с матерью в отеле «Уэйлин» на Мэдисон-авеню, поэтому встречались иногда на неделе в съемной комнате Джерри, а чаще у Кэрл. Приходилось быть очень осторожными и не шуметь. Он покидал квартиру на цыпочках глубокой ночью, тихонько затворяя за собой дверь, и шел домой пешком с улыбкой на губах и неизбывностью в штанах. Это только усиливало его радость, как у иных монахов, чьи экстатические лица могут служить отличной рекламой целомудрию. Ничто не мешало ему доводить себя до сильнейшего оргазма в одиночестве в своей постели, вспоминая неуголенные поцелуи Уны, ее упругую кожу, ее младенческий запах ее молочную белизну ее полузакрытые глаза ее детские белые трусики ее маленькие изящные ножки ее родинки на груди ее жадный ротик ее вздохи в его ухо ее сладкий язычок ооо йееес.

Встречаясь с компанией своих друзей, Уна приходила иногда к нему среди ночи, потому что терпеть не могла спать одна. От нее пахло спиртным и табаком, но он был счастлив принимать ее в своей съемной комнате Проклятого Поэта. Ей хотелось, чтобы с ней поговорили, приласкали; хотелось млет под чистыми поцелуями и нежиться в любящих руках. Она постоянно твердила, что ненавидит свое тело, считала себя маленькой и толстой и, невзирая на его протесты, просила погасить свет. Потом она засыпала в самых нелепых позах, похрапывая или кусая уголок подушки. А порой вела себя как принцесса, помыкая им: «Раздень меня, please... Почисти мне зубы, пожалуйста, я так устала... Можешь принести мне стакан воды?...» Джерри не смущало, что с ним обращаются как со слугой, лишь бы смотреть на ее крошечные ножки. Однажды вечером он выпил шампанского из ее туфельки. О боже мой, как выгнулась эта белая ножка, скидывая лодочку... Как порозовели пальчики с накрашенными ногтями, коснувшись кожи, прежде чем высвободиться... Глупо, но в двадцать два года можно гордиться тем, что такая красавица выбрала вас, пусть даже лишь для того, чтобы уснуть в вашей постели, пока вы будете чесывать ей голову, чтобы она мурлыкала, как котенок, и упиваться исходящим от нее запахом спиртного и сигарет. Когда она уходила, он жалел, что не был с нею требовательнее. Подозревал ли он, что нежность, ласка, чесывание спинки были вложением, которое никогда не окупится?

Еще были танцы в «Сторк-клубе». Новая прелесть появилась в вечеринках, когда танцевали под джаз. Помимо сближения тел, оркестр давал и тему для разговоров.

– Дождись кларнета, – говорил Джерри, – вот увидишь, этот парень – поэт дыхания.

– Нет, гитарист куда лучше, – отвечала Уна, – он разговаривает пальцами.

– Ничего подобного, оглохла ты, что ли? Послушай-ка соло на ударных, это же с ума сойти: он просто ласкает кожу палочками, как будто трогает ягодицы негритянки.

– Помолчи две десятых секунды и насладись обалденной трубой! Этот тип извлекает такие ноты, которые убивают его на публике.

Вуди Аллен прав: все изменилось с приходом рок-н-ролла. Никто больше не ждет сольного выступления каждого музыканта (если только группа не называется «Led Zeppelin»). До того как изобрели дискотеку, люди действительно *слушали* музыку, которая никогда не повторялась дважды, это не был заранее записанный шумовой фон, призванный скрыть пустоту.

– Ты умеешь танцевать чарльстон? – крикнула Уна.

– Этот танец старичья?

– Давай-ка попробуй: двигаешь руками и выбрасываешь ноги вперед, только не одновременно, а то навернешься!

«У нее был только один недостаток: она была совершенна. А в остальном она была совершенна», – напишет Трумен Капоте об Уне О’Нил, своей подруге детства, много позже, когда будет гробить себя в «Студии 54», ^[58] вдыхая кокаин полными ложками и глядя на эфебов, целующихся взасос на танцполе, в семидесятых. Это правда: бедой Уны было ее совершенство. Она так тщательно маскировала свои страхи чрезмерным очарованием, что рисковала однажды буквально взорваться (что и случилось с ней в пятьдесят два года). Джерри же был далек от совершенства: характер скверный, а амбиции непомерные. Он был собственником, мегаломаном и злокой. Пора абсолютного и безоблачного счастья продлилась у них всего несколько недель, после чего Уна начала тяготиться этим верным рыцарем, предъявляющим на нее права, а он – понимать (раньше, чем это дошло до нее), что ей с ним скучно и что их вкусы, их чаяния, их образы жизни попросту несовместимы. Он не мог с этим смириться – но он не был слеп и в глубине души понимал, что Уна, брошенная отцом, никогда никого не полюбит, о чем она сама имела любезность его предупредить на променаде в Нью-Джерси.

– Какого черта ты делаешь с этими дурами? – спросил Джерри однажды вечером, не в силах больше сдерживать раздражение. – Серость они, все твои подружки. Только и думают, как бы напиться да выскочить замуж за миллионера. Ты что, сама не видишь, что у них в голове пусто?

– Их общество меня успокаивает, – ответила Уна. – Мне нравится, что они все время притворяются, будто им весело, мои «Poor Little Rich Girls».

[\[59\]](#) Мне надо отвлекаться.

– Мне тоже – пореже их видеть!

Лицо Уны осунулось от недосыпания. Кэрол постоянно устраивала у себя вечеринки с пуншем, который разливали черпаком слуги в белых куртках, предварительно скатав ковер в гостиной; родители на это время изгонялись на верхний этаж. Уна приходила к Джерри поздно ночью не в лучшем виде: под глазами темные круги, лицо тусклое, зубы серые от красного вина, волосы пропахли пеплом. Вот какой она будет, если я на ней женюсь, говорил себе Джерри. Я должен ее потерять, чтобы она осталась невинной в моей памяти. Глаза Джерри хотели смотреть цинично, но это им не удавалось. Он был пылок поневоле.

– Я не могу больше видеть, как ты губишь себя, – говорил Джерри.

– Чтобы я перестала видаться с друзьями, – отвечала Уна, – придется перерезать телефонный провод. У тебя есть ножницы?

– Ты не обязана бежать со всех ног, стоит им тебе позвонить.

– А представляешь, если бы у каждого был переносной телефон в кармане? Кошмар, никакой жизни. Постоянные звонки.

– Прекрати менять тему! Ты прекрасно знаешь, что такого ужаса никогда не будет: для связи между людьми необходимы провода.

Писателю из будущего есть что возразить своему прославленному персонажу по этому пункту.

– С тобой вообще можно спокойно жить? – спросила Уна. – Я хочу сказать, чтобы мы не собачились постоянно?

– Я спокойнее тебя. Это ты попусту тратишь время – свое, а стало быть, и мое – с компанией пустоголовых полуночников.

– Ты слишком серьезен. Мне нравится моя усталость. Я отсыпаюсь днем. И не хочу думать все время. Так здорово, будто спишь на ходу. Проблемы как рукой снимает... Это же друзья, они меня любят, с ними весело. Мы развлекаемся, что тут плохого?

– Также мне, развлекаетесь, ты посмотри на себя! Они пользуются твоей мягкотелостью, чтобы втянуть тебя в пьянство и свои пустые пересуды. Все дело в том, что ты не способна быть одна. Ты до смерти боишься оказаться наедине с собой. Ты бежишь от себя как от чумы!

– Ой, да хватит брюзжать! Расслабься хоть немного, если хочешь быть писателем. Знаешь, сколько шампанского Фицджеральд выпивал за ночь? Достаточно, чтобы вздумать распилить бармена пополам и посмотреть, что у него внутри.

– А бармен был не против? Я скажу тебе одну вещь: бармен – это я, понятно? И я не желаю, чтобы ты разрежала мне душу пополам! Пока!

Джерри уходил, но всегда возвращался, и Уна это знала. Он мог устоять перед многими искушениями, но не перед бесконечной мукой, на которую обрекала его мисс Уна О’Нил. «О, какая это мука! Мука стоять перед Уной и не иметь права наклониться и поцеловать ее в разомкнутые уста! Какая невыразимая мука!» На этот раз, однако, она удержала его за руку.

– Ты лучше бери с меня пример, – сказала она. – Веди пустые разговоры, а важное оставь для своих книг. Главное для писателя – что он пишет, а не как живет.

– Я не хочу терять время, – ответил Джерри.

– Ты говоришь как мой отец, а он самый большой зануда из всех, кого я когда-либо встречала.

– Знаю. Он сказал в одном интервью: «Writing is my vacation from living» («Я пишу, чтобы отдохнуть от жизни»).

Когда неразлучная тройца завтракала среди пальм в кадках и безвкусной позолоты в «Оак-рум», ресторане при отеле «Плаза», их вправду можно было принять за Сестер Эндрюс.^[60] Трумен Капоте так и называл их: «Rhum and Coca-Cola»,^[61] а Джерри добавлял: «Working for the yankee dollar»,^[62] прозрачно намекая на легкое поведение подружек. Джерри осточертело встречаться с этой компанией малолетних алкоголиков, но то был его единственный шанс увидеть Уну. Она теперь все чаще ночевала у Кэрол Маркус, в огромной квартире на Парк-авеню, где ее обслуживали как королеву восемнадцать слуг, и не расставалась с двумя «названными сестричками», Кэрол и Глорией. Их часто спрашивали:

– Вы сестры? Тройняшки?

– Нет, просто двойники. Только уже не знаем, кто кому подражает.

– По отдельности мы ужасны, но вместе производим фурор!

Мать позволяла Уне не ночевать дома с пятнадцати лет – так у нее было больше времени, чтобы писать и тайком от дочери видаться с новым любовником. Это молчаливое соглашение устраивало обеих, особенно с тех пор, как брат Шейн (старше Уны на пять лет) укатил на Бермуды курить косяки.

– Моя мать крутит романы и хандрит, отец живет в Сан-Франциско и не отвечает на мои открытки... Надо видеть во всем хорошее: поэтому я самая свободная девушка в Нью-Йорке!

Весь город только и говорил что о трио юных светских львиц – Уне, Глории и Кэрол, которые одевались, красились, обедали, ужинали, танцевали, пили и спали вместе. Все три были осиянны светом своих подведенных глаз и банковскими счетами родителей. Джерри скоро понял, что встреть между ними – себе дороже. Выбора у него не было, и он ходил за ними повсюду, как верный пес.

Их любимым видом спорта было разгуливать вверх и вниз по Пятой авеню, подражая гнусавому выговору Мэй Уэст.^[63]

Глория: «When I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better».

Кэрол: «I'll try everything once, twice if I like it, three times to make sure».

Трумен: «Good girls go to heaven, bad girls go everywhere».

Уна (*зажимая нос*): «I used to be Snow White, but I drifted».

Трумен: «Ten men waiting for me at the door? Send one of them home, I'm tired».

Переводить шуточки легендарной Мэй Уэст – задача не из легких, но под давлением моих франкоговорящих друзей я вынужден попытаться:

«Когда я хороша, я очень хороша. Но когда я плоха, я еще лучше».

«Я пробую все единожды, дважды, если мне нравится, трижды, чтобы удостовериться».

«Хорошие девочки пойдут в рай, плохие девочки пойдут куда хотят».

«Я была Белоснежкой, но плохо кончила».

«Десять мужчин ждут у моей двери? Отошлите одного, я устала».

Джерри не знал цитат из Мэй Уэст, зато пересказал сцену из фильма, где безутешный влюбленный преследует ее до самой гримуборной. Она вздыхает, закатив глаза, а он умоляет ее: «Вы свели меня с ума, с тех пор как я впервые вас увидел, я без ума от вас, если так будет продолжаться, отправьте меня в сумасшедший дом!» Мэй смотрит на него с жалостью и спокойно отвечает: «Лучше я вызову вам такси».

Рассказ Джерри очень насмешил девушек. Цитировать эту актрису было занятием небезобидным: Уна восхищалась ею, потому что это была первая «фам фаталь», столь непринужденно помыкавшая мужчинами. Прежде хорошим тоном считалось влюбленно хлопать ресницами; с Мэй Уэст родилось понятие мужчины-вещи (сегодня говорят «toy boy»^[64]). Мэй Уэст совершила такую же революцию в женских взглядах, как Симона де

Бовуар. Именно из-за Мэй Уэст юноша теперь не решается сказать девушке «люблю», боясь показаться смешным или отсталым.

У Джерри не было средств, но, как самый старый, он часто платил по счету, все больше хмурясь и ворча сквозь зубы на недалекость этой шайки-лейки. Шли недели, Уна по-прежнему отказывалась с ним спать и изыскивала лживые предлоги, чтобы реже видаться. Например, она с простодушным видом объясняла ему, что всю ночь танцевала босиком в саду Вандербильтов под звуки *Moonlight Serenade* и как же эта песня напомнила ей о нем... Он едва не задохнулся от ярости. Вот в чем драма: следуя за ней, как собачонка, он и стал собачонкой в ее глазах. Конечно же, чем упорнее Уна не давалась в руки, тем сильнее он ее желал. И чем больше она веселилась, пила, краснела, играла в джин-рамми со стариками в «Сторке» и хохотала, показывая свои чудные зубки, тем больше мрачнел Джерри в своем углу, угрюмый и молчаливый, как большой аист, искупавшийся в мазуте.

– Чудной ты, – говорила ему Уна. – Веселый – и вдруг такой несчастный. Через шестьдесят лет скажут: ты биполярный. А пока ты просто непредсказуемый, как мой отец.

– Моя хандра – твоих рук дело, – отвечал Джерри. – Не понимаю, что я в тебе нашел. Ты не можешь объявлять себя Двинутой Ирландкой и одновременно плевать на то, что происходит в Европе.

– Ну все, готово дело. Опять он о войне. Молчи лучше, а то поссоримся.

– Ты хочешь веселиться, как будто кризиса и нет вовсе? Но все нынешние девчонки или нищие, или замужем, и твой отец это понял: его пьесы так мрачны, потому что все, кто прожигал жизнь, покончили с собой в тридцатом году. Теперь уже не до смеха, сегодня отчаяние в моде и страхи в цене.

– Извини, мне очень жаль, что я родилась в двадцать пятом. Ты еще посоветуй мне переправить дату рождения.

– Веселье кончилось, когда тебе было четыре года.

– А война началась, когда мне было четырнадцать. Класс! Спасибо за урок арифметики. Но ты думаешь, я позволю Адольфу Гитлеру испортить мне молодость?

Про себя Джерри переживал:

«Надо работать, и довольно быть невидимкой. Я хочу быть любимым этой девушкой, которую ненавижу. Не хочу, чтобы меня презирали, хочу презирать сам. В том, что я пишу, я должен быть еще большим чудовищем, чем она. Любовь? Попрошу не выражаться, мы же джентльмены. Вначале

бывает в лучшем случае взаимное любопытство. Может ли этот человек причинить мне зло? Любовь – утопия двух одиноких эгоистов, пытающихся помочь друг другу, чтобы сделать свою участь сносной. Любовь – борьба с абсурдом посредством абсурда. Любовь – безбожная религия. Если это временное явление, в чем проблема? Жизнь, в конце концов, тоже временна. О боже, как она ненавистна мне, когда я вижу ее, но насколько хуже, когда я ее не вижу...» Для реалистичного описания того, что творилось в голове Джерри, следовало бы перечитывать этот абзац с начала до конца и с конца до начала.

А потом Уна смотрела на него с улыбкой, и он прекращал думать, любясь ямочками на ее щеках. Порой она осознавала свою власть; ему больше не удавалось скрывать от нее, что она победила в этой битве. Он с нетерпением ждал другой войны как освобождения от той, кого он терял каждый вечер.

В конце концов Уна перестала отвечать на его поцелуи. Он не мог раздвинуть языком ее сомкнутые губки. Мучительнее всего была ее вежливость. Случалось, что Уна лежала рядом с ним на кровати всю ночь, одетая, неподвижная, безмолвная и печальная, и, чтобы не огорчать его, позволяла ласкать свою грудь, но сама при этом не шевелилась. Красивая девушка, окаменевшая от нелюбви, – вот, пожалуй, худшее из унижений, что могут выпасть на долю мужчины.

* * *

Вот что произошло за зиму 1941-го:

- 15 поздних завтраков в «Оак-рум», за которыми повторялись мерзости, сказанные Труменом накануне;
- 23 попойки в «Сторк-клубе», в «Мартинике», в «Рейнбоу-рум», в «Дельмонико» и в «Копакабане»;
- 4 попытки как следует покататься на коньках в Центральном парке;
- 13 пятен от красного вина на полосатых диванчиках в «Эль Морокко» и 22 пятна от свечного воска на белых скатертях в «21»;
- обход французских бистро – в знак солидарности с Сопротивлением: «Кафе Пьер», «Версаль» и «Красный петух»;
- 18 представлений пьесы «Приятель Джои» в театре «Мэпплвуд», где у Уны был короткий, но восхитительный выход босиком;
- 12 послеобеденных походов по магазинам: «Блумингдейл», «Бергдорф и Гудман», «Мэйсис»;

– 2 бала в «Уолдорф Астории», еще один в «Розланд Болрум» плюс костюмированный бал в «Иридиум-рум» в отеле «Сент-Регис»;

– 7 декабря 1941-го 360 истребителей с японских авианосцев уничтожили 188 американских самолетов и потопили 7 кораблей Военно-морского флота США на острове Оаху (Гавайи), в Жемчужной гавани (Пёрл-Харборе), названной так потому, что там разводили устриц-жемчужниц. Число жертв (2335 погибших) было почти таким же, как при атаке на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года, шестьдесят лет спустя (2606 погибших), которая тоже спровоцировала вступление Соединенных Штатов в войну.

V

В ожидании войны

Вот этот-то чистый воздух безоблачного неба, в котором сияло столько славы, где сверкало столько стали, и вдыхали дети. Они хорошо знали, что обречены на заклятие... Да если бы и пришлось умереть? Сама смерть в своем дымящемся пурпурном облачении была тогда так прекрасна, так величественна, так великолепна!

*Альфред де Мюссе. Исповедь сына века, 1836.
Перевод Д. Лившиц, К. Ксаниной*

Когда приближается война, возможны только две здоровые реакции:

- веселиться напропалую, пока еще есть время;
- спрятаться в надежном месте с запасом продовольствия и оружием.

Джером Сэлинджер выберет третий вариант. Призванный в армию – ибо президент Рузвельт сделал военную службу обязательной, – он мог бы уклониться от воинской повинности по состоянию здоровья: на медосмотр армейский врач диагностировал у него сердечную недостаточность. Но вместо того чтобы воспользоваться везением и получить белый билет, Джерри настоял на своем и добровольно явился на призывной пункт. Сержант попытался его отговорить:

- Хотите убивать нацистов? Придется сначала поучиться.

Он хотел завербоваться в армию, чтобы не участвовать в отцовском бизнесе. Ему не хотелось заниматься импортом грюйера, к тому же он надеялся, что война даст ему тему: в конце концов, написал же Фицджеральд свою первую книгу в армии. «Война лучше, чем сыроварня», – твердил он себе, подобно многим своим ровесникам, мечтавшим быть Шатобрианом – или никем. Переход с Парк-авеню в разведслужбу Вооруженных сил США был не жестом отчаяния, но попыткой осуществить мечту Фицджеральда.^[65]

Джерри хотел также доказать свое мужество, чтобы вырасти в глазах Уны. Получив образование в военных академиях, он не был блестящим выпускником Гарварда, но с обычаями американской армии познакомился,

а потому знал, что гарнизонная жизнь обеспечит ему много свободного времени, чтобы писать. Его, как и всех, тревожила война, но отнюдь не воинская служба. К тому же он рассчитывал, что его скоро произведут в офицеры, а стало быть, рисковать он будет меньше, чем простой солдат. Он понимал, что ему будет комфортнее в военной среде, чем в костюме с галстуком в «Плазе» со знаменитыми сиротками, и надеялся, что разлука с Уной О'Нил придаст ему таинственности в ее глазах. Он уже видел себя таким красавцем в военной форме, прощающимся на пристани с заплаканной нареченной на фоне дымящего трубами корабля, удаляющегося к югу Англии. Уна, как принцесса из средневекового замка, провожающая своего доблестного рыцаря в Крестовый поход, не преминув вложить ему в руку ключик от пояса целомудрия, не устоит перед таким проявлением мужества и отваги... Но все произошло не совсем так, как он планировал. Уна не пришла с ним проститься. В их последний вечер она сообщила, что уезжает в Лос-Анджелес.

— Ты на восток, а я на запад, — сказала она. — Вот это и называется современной парой. Я еду к маме в Калифорнию — так будет лучше для моей карьеры актрисы. Я буду брать там уроки актерского мастерства. Не сердись на меня, пожалуйста. Меня восхищает твое чувство долга, но я тоже не могу сидеть на месте.

Что он мог ответить? Мать Уны перебралась в Голливуд, где надеялась продать свои писания продюсерским компаниям. Агнесс Боултон-О'Нил работала над романом под названием «Tourist Strip»^[66] и из-за жилищных проблем, связанных с затратами на войну, жила в трейлере... Глория и Кэрл тоже эмигрировали на Западное побережье. Отъезд Уны в Лос-Анджелес был предсказуем, но для Джерри, ослепленного войной, стал неожиданностью.

— Но... ты будешь ждать меня?

— О-ля-ля, кончай скулить, ну прямо тебе Скарлетт О'Хара!

— Ты меня больше не любишь?

— Я же тебя предупреждала, что не способна на чувства, такая уж я ущербная. И прекрати задавать вопросы, это не по-мужски. Подумаешь, не конец света, будем переписываться...

— Нет, это конец света. Ты что, не видишь? Именно это и происходит: конец света. Если война не конец света, чего тебе еще надо?

— Пустые слова. Опять ты за свое, не желаю слушать.

— Это правда. Все летит в тартарары, это ужасно, наша страна объявила войну половине планеты, а тут еще ты с нашей разлукой, как

будто мировой трагедии недостаточно. Ладно, плевать, я там погибну, так что ты избавишься от меня.

– Эй-эй, только не путай: ты сам завербовался в армию, я тебя ни о чем не просила. Как ты смеешь оставить меня? Разве тебе не хочется досмотреть фильм до конца?

– Не говори мне о кино, пожалуйста, мисс Гламур. Ты открыла мне глаза: ты всегда была пошлой актрисулькой, твой отец прав, у тебя голова забита глупыми мечтами, как у всех дур твоего возраста, ты хочешь прославиться, браво, присоединяйся к мириадам светлячков, которых манят неоновые огни Сансет-бульвара... Давай же поцелуемся в последний раз, я хочу посмотреть, как ты сыграешь сцену прощания... Камера готова? Мотор? И... съемка!

– Читай по губам: ИДИ, ТЫ, В, АД. Понял?

– Именно таковы мои планы на ближайший год.

Их последний поцелуй был похож на киношный, когда актеры закрывают глаза, соприкасаются уголками губ и притворяются влюбленными, пока не прозвучит команда «Стоп». Но один из двоих не притворялся.

* * *

27 апреля 1942 года

Дорогая Уна,

я пишу тебе в новенькой и ладной форме и сразу прошу прощения. Я был груб в нашу последнюю встречу. Мне стыдно за мою сентиментальность. Эту склонность к мелодраме я, наверное, унаследовал от матери. Ирландка должна бы понять и простить такое чудачество. Я только что зачислен в Десятый форт, Нью-Джерси, под номером 32325200. Военная служба – вещь увлекательнейшая, но при одном условии: никогда не включать мозги. Сержанты терпеть не могут солдат, задающих вопросы. Джи-ай^[67] не должен думать. Солдат – не человек, а порядковый номер, который вскидывает винтовку, когда сержант командует: «В ружье!» В остальное время – дармоед, неумеха, грязный шкафчик: ну-ка, вываливайте все на пол. И все по новой: чистка обуви, сборка-разборка боевого оружия, стрельба по мишеням, марш-бросок с рюкзаком весом в тонну, освоение

навыка установки палатки в ледяной дыре. Хороший солдат быстро засыпает вечером, потому что даже не понимает, как это – держать глаза открытыми. Но вот моя беда: я думаю обо всем, что мы не сделали вместе, на пляже в Пойнт-Плезант или в моей нью-йоркской постели. Я вспоминаю нас с тобой в чайном салоне для старых дам, где я истратил все свое месячное содержание, чтобы угостить тебя чаем с двумя пирожными. Мне стыдно, когда я вижу себя в Центральном парке: я сижу под деревом, твоя голова у меня на коленях, а я заставляю тебя слушать самодовольное чтение моих новелл с сомнительными видами на публикацию, – сейчас, когда я пишу тебе, я крепко прижимаю к животу пепельницу из «Сторк-клуба»... Это мой талисман, он повсюду со мной. Когда кто-то из товарищей спрашивает меня, какого черта я таскаю в своей выкладке фарфоровую пепельницу – уж носил бы апельсины или виски, – я, закатив глаза, отвечаю: «Это чтобы лучше томиться». Как правило, тот пожимает плечами и давит окурок об аиста. Тогда мне хочется ему врезать, но я этого не делаю, потому что: 1) я мирный солдат и 2) у него плечи куортербека. ^[68]

Когда выдается свободная минутка, я записываю свои мысли на этой небесно-голубой бумаге для писем. Прости, если мое письмо бессвязно, оно следует за нитью моей мысли, которой нет (в смысле нити). Тебе надо всего лишь иногда откладывать эту тарабарщину и ходить в гостиную за стаканчиком мартини с водкой. Не хочу тебя обременять, но знай, что разлука сделала тебя полубогиней, занимающей мой ум подобно китайской головоломке. Я отчаянно скучаю, когда не вспоминаю твою улыбку Безбашенной Ирландки. Учиться убивать немцев – дело долгое и нудное, а между тем, поверь мне, я вовсе не спешу за него браться! Но наше безделье мучительно, здесь нечем заняться, кроме как перебирать свои отрадные воспоминания, травить фривольные байки, картинки-которым-печально-улыбаешься-вечером-когда-остальные-парни-ублажают-себя-под-липкими-простынями... Ребята рассказывают о своих подружках, а я молчу. Не знаю, есть ли у меня подружка. Скажи, есть у меня любимая? Ну вот, готово дело, я опять за свое, какой же я тупой, тупой, ТУПОЙ! Ты послала мне поцелуй губной помадой на белом листке, а я пролил на него кофе. Я все равно его храню. Мне кажется, будто твои губы выпили эту мерзкую бурду!

Извини за эту ПАТОКУ, но мне было приятно разделить с тобой мое гадкое пойло. Как прошла пьеса, написанная не твоим отцом? Я уверен, что ему не понравится «Приятель Джои»: слишком простой сюжет. Бедняга Джои мечется между богатой и бедной. Разумеется, он выберет бедную, а надо-то было оставить при себе обеих! Позлить отца – вот какого результата ты наверняка добивалась. Он называет тебя недостойной дочерью, а ведь ты его достойна более чем, у тебя тот же нрав, что у него, – строптивый, упрямый, вольнолюбивый и несносный. А ему следовало бы догадаться: то, что его злит в тебе, – это он сам.

Как поживает Трио с Парк-авеню? Все так же блистают в Голливуде мисс Кэрол Маркус и Глория Вандербильт? Но что я говорю? Это ведь ты дебютантка of the last year!^[69] Боже мой! Если я скажу это моим товарищам из 12-го пехотного полка, они меня растерзают. Только что заходил полковник: его нетрудно узнать по тому, как прямо он держится, заложив руки за спину, и молчит для пущей важности. Орать – на это есть сержант, а он, полковник, наводит страх одним своим молчанием. Эта система зовется армией. Она существует так давно, что никому и в голову не приходит ее изменить: высший чин ходит большими шагами, чтобы припугнуть чина пониже, тот непрерывно орет, чтобы припугнуть чина еще ниже, а тот дрожит мелкой дрожью, поднимая свой рюкзак, сброшенный в грязь чином повыше, и плачет по ночам, потому что он далеко от родного дома и не знает, когда снова увидит свою ферму в Кентукки или в Алабаме... Черт побери, странно все это, как подумаешь, Уна. Надо шагать в ногу, не знаю, представляешь ли ты меня в строю, но это в высшей степени комичное зрелище. «Left, left, left, right, left», и мы поем национальный гимн или дурацкие военные песни, а на ногах у нас волдыри, и знаешь, что я пою мысленно? «When they begin the beguin»,^[70] о, я понимаю, как это будет выглядеть на бумаге: опять ПАТОКА. «When they begin the beguin, it brings back the sound of music...»,^[71] и я шагаю в строю, вспоминая День святого Патрика и нашу буйную ирландскую вечеринку в «Сторке», когда мы кружились в парах «Джеймсона». Ах, если бы только американской армии пришло в голову заказывать строевые песни Коулу Портеру... Малышка Уна, ты спасаешь мне жизнь по несколько раз на дню и не имеешь об

этом НИ МАЛЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ.

Твой герой US Army целует тебя в щечку, в правый глазик, в левое ушко и ниже, в шейку, горячо и бессильно.

Джерри

P. S. Мою пишущую машинку я отправил ко всем чертям.

* * *

8 мая 1942 года

Dear Уна,

меня перевели в Форт-Монмаут, опять же в Нью-Джерси, на десятинедельную стажировку в войсках связи. Не спрашивай, что это: понятия не имею. Полагаю, что солдаты, которые стреляют на передовой, должны передавать информацию тем, кто окопался в тылу. Меня научат орать в микрофон радиопередатчика, тянуть телефонный кабель, отправлять шифрованные сообщения. Мое следующее письмо, возможно, будет написано тайным кодом, не поддающимся расшифровке. Это мало что изменит как в моем пресловутом герметичном стиле, так и в отсутствии твоего ответа. Почему ты молчишь? Я знаю, что пишу тебе слишком часто, но это не от нечего делать. Я много думаю о твоей милой головке. Надеюсь, что ты не боишься войны: благодаря мне ни немцы, ни японцы не нападут на Лос-Анджелес. Я не дам им тебя в обиду. Скажи Трио, что я готов умереть за «Сторк-клуб»!

Здесь мне поручили натаскивать новобранцев; у меня появилось несколько десятков рабов, но я своим положением не злоупотребляю. Я всегда вижу твое лицо на линии прицела. Как ты переносишь Лос-Анджелес? Нью-Йорк не оправится от такой потери. Чувствую, что скоро не я один буду видеть твое лицо крупным планом в темноте. Ты проходишь кастинги, кинопробы? Это не слишком унижительно для прирожденной звезды? Я прошу у тебя прощения за наши ссоры, за мой свинский характер, за мое стремление воевать, когда мы с тобой должны были быть счастливы. Нам было хоть немного хорошо вместе или я все испортил? Моя память приукрашивает наше прошлое, это

душевная болезнь – губить все хорошее, чтобы потом о нем жалеть. С тех пор как я ношу достойную мужчины форму и окружен дружными и любящими выпить ребятами с веснушками и угрями, у меня появилась досадная склонность идеализировать тебя. Я люблю этих парней и надеюсь, что с ними в бою не струшу. Я тут встретил хлюпика, который плакал в коридоре, потому что ему угрожала орава негодяев. Другой вступился за него и сам получил по физиономии. Знаешь, такие радости у нас случаются каждый день, и это вселяет веру, несмотря ни на что. Как бывший курсант, попросил произвести меня в офицеры. Там будет видно, но признаю, что рассказал тебе, только чтобы похвастаться. Я продолжаю пописывать мои историйки, и это тоже для тебя, мои новеллы – те же письма Уне, иносказательные, тайные, которые, быть может, дойдут до тебя, если купишь «Эсквайр» или свежий номер «Стори». Есть мои личные письма, и есть эти, открытые. И все они тебе, хочешь ты этого или нет. Прошу извинить меня за этот избыток корреспонденции. С тех пор как мы познакомились, я стал захватчиком. Я твой Гитлер, ты моя Франция. Не беспокойся, я ничего у тебя не попрошу взамен за мою оккупацию твоей духовной территории. Вдохновляй меня, и только, ты не виновата, тебе так выпало, и я прекрасно знаю, что мы не созданы друг для друга и наш роман с самого начала был с гнильцой. Я воспользовался тобой, чтобы лучше писать, и теперь, благодаря твоему отсутствующему присутствию, твоему шаловливому молчанию, я глупо, упорно погружаюсь все глубже в эту писанину, захватившую меня целиком. Я буду сражаться, прости мою высокопарность, не за свою страну, не за свободу, добро и всю эту чушь, но за твои скулы, за твои розовые щечки, за твои крупные зубки, за твои нежные плечики, шелковистые, как персик. Вот она, моя война: я буду писать тебе письма, а ты не будешь мне отвечать. Я и не хочу, чтобы ты отвечала: слишком боюсь прочесть, что ты меня больше не любишь. Я буду писать тебе письма всю жизнь, и со временем, когда издадут мои книги, все подумают, что это романы, потому что на обложке будет написано «роман», но ты-то будешь знать, что это письма, адресованные тебе одной.

Не забывай своего героического героя и его будущую пенсию по инвалидности, которая обеспечит тебе роскошную жизнь.

Джерри

VI

Затянувшийся дебют Уны О'Нил

I hate movies like poison. ^[72]

Дж. Д. Сэлинджер

Из армии Джерри продолжал посылать свои новеллы в литературные журналы. Рассказ «Затянувшийся дебют Лоис Тэггетт» был опубликован в «Стори» в сентябре 1942 года. Как и «Подростки», это сатира на нью-йоркскую золотую молодежь, сумасбродную и заносчивую. Однако на сей раз можно говорить о «новелле с ключом»: Лоис Тэггетт, похоже, непосредственно списана с Уны О'Нил и ее подруг. Сэлинджер бросил им в лицо «литературный Пёрл-Харбор», подобный той бомбе, которую Капоте обрушит на них своими «Услышанными молитвами» в 1975 году. И снова Сэлинджер опередил своего соперника.

«И вид у нее был вполне товарный: белое, с орхидеей, прилаженной чуть ниже юных ключиц, платьице и очаровательная, хоть и несколько вымученная улыбка. Джентльмены со стажем восторгались: „Настоящая Тэггетт“; дамы в годах умилялись: „Какое чудное дитя“; молодые девушки хмыкали: „Погляди-ка на Лоис. Недурна. Что она сделала с волосами?“ – а молодые люди нервно сглатывали и требовали у официанта спиртного. В ту же зиму Лоис энергично внедрялась в манхэттенский бомонд, в сопровождении самых фотогеничных любителей виски с содовой, завсегдатаев „Сторк-клуба“ из разряда „Бог и Уолтер Уинчелл“ ^[73]. Лоис сумела-таки произвести впечатление. Ну еще бы, с ее-то фигуркой, и одета шикарно, и, главное, со вкусом, и, похоже, очень, очень неглупа. В тот сезон как раз пошла мода на умненьких». ^[74]

Чувствуется, как в Джерри закипает гнев на этих избалованных девиц с Парк-авеню, по-прежнему думающих только о красивых шмотках, когда Европа и Азия охвачены войной: «Это был здорово ответственный год, свежесвыпущенным дебютанточкам предстояло найти себе Занятие. Салли Уокер уже пела в клубе у Альберти; Фил Мерсер чего-то там моделировала, платья, кажется; Элли Тамблстон пробовалась на какую-то роль». Во время тренировочных марш-бросков Сэлинджер каждый день шлепает по грязи, лазит по канату, проползает под колючей проволокой и –

как это свойственно человеку – с трудом переносит тот факт, что его бывшая продолжает каждый вечер прожигать жизнь со своими нью-йоркскими gossip girls^[75] в клубах Лос-Анджелеса. Но мне кажется, что не только поэтому он так суров с Уной. Он чувствует, что она ускользает от него. Ему хочется заранее ее возненавидеть, сделать первый шаг, предвосхитить их неизбежный разрыв. «Малютка Уна безнадежно влюблена в малютку Уну», – поведает он одному другу («*Little Oona's hopelessly in love with little Oona*»). Такое часто встречается у чересчур чувствительных людей: лучше уничтожить предмет любви, чем терпеть его гнет. Можно убедить себя, что так проверяются на прочность чувства, но на самом деле нет вернее способа все погубить.

В «Затянувшемся дебюте Лоис Тэггетт» Лоис выходит замуж за красавчика, который гасит окурки о ее руку, а потом ломает ей ногу клюшкой для гольфа. После этого Лоис Тэггетт покупает щенка, но через несколько недель выбрасывает его на улицу за то, что он сделал лужу в ее лифте.

Уничтожь, пока не уничтожили тебя, пишет Сэлинджер, влюбленный в Уну. Любить слишком опасно. Джерри сделал свой выбор: ушел на войну, пока не пришло искушение мучить Уну или мучиться из-за нее. Он, конечно, догадывался, что она его не дождет. И все же сердце его разбилось, когда она нашла ему замену.

Нельзя недооценивать и наличие социального комплекса у сына еврея, импортера сыров, влюбленного в дочь одного из крупнейших писателей страны. Сам себе, наверно, в этом не признаваясь, он чувствует себя в положении низшего, как Джастин Хоргеншлаг перед Ширли в «Душе несчастливой истории» или Билл перед Лоис в «Затянувшемся дебюте Лоис Тэггетт». Я восхищаюсь определением богатства, которое дает Сэлинджер в конце этого абзаца: *«Лоис заказала виски с содовой, выпила, потом заказала еще и снова выпила, и третий стакан, и четвертый. Только потом, уже на улице, она почувствовала, как здорово ее развезло. Она шла, и шла, и шла. Добрела до зоопарка и там наконец уселась – на скамейку перед вольерой с зебрами – так там и сидела, пока не выветрился хмель. А после отправилась домой. Домой, то есть туда, где имеются родители, где по радио день-деньской треплются комментаторы, где вечно мельтешат перед глазами накрахмаленные горничные, сующие тебе под нос „стаканчик холодного томатного сока“»*.

Сильные чувства не могут долго противостоять классовой борьбе. Зависть, неуверенность, презрение: наличествовали все компоненты для высокой любовной страсти без взаимности. Эта невозможная, нескладная

история будет развиваться по нарастающей всю войну. Это история любви, которую возвышает разлука: юный писатель любит все сильнее, по мере того как война удаляет его от любимой, которую он считает (и напрасно) легкомысленной пустышкой.

Есть что-то от Гэтсби и Дэзи в этой идиллии карьериста, желающего очиститься, и дебютантки из «safe society». Кто из них двоих невиннее? Кто сильнее страдает? Готовясь к войне, солдат Сэлинджер считает себя вправе преподавать уроки добродетели «glamour girl» из мира избранных; он сам себе лжет, отказываясь признать, что его, как и Трумена Капоте, влечет этот мир мишуры, богатства и славы. В двадцать три года Сэлинджер – американский Милый друг, нью-йоркский Растиньяк. Но он ошибся в Уне: она якшается с несчастными богатыми девочками, но сама она не из их числа. Ее мать живет в «trailer park» в Лос-Анджелесе, а отец – давно отрезанный ломоть. Уне только и нужно было, чтобы ее утешили, обласкали, приютили, а не читали мораль о пустом времяпрепровождении. Это одинокое дитя в Нью-Йорке искало защитника, кого-то, кто позаботился бы нем, подобно кошке, которая делает вид, будто гуляет сама по себе, но требует свою мисочку с молоком в урочный час. Она не могла довольствоваться воинственно настроенным юнцом, отлученным от родины солдатом, сумрачным писателем и уж тем более травмированным ветераном... Но чтобы понять это, надо было быть как минимум на двадцать лет старше.

Итак, Джерри отправился в казарму, а Уна О'Нил села в поезд и поехала к матери в Голливуд. Ее лучшая подруга Кэрол обручилась с писателем Уильямом Сарояном (ей было семнадцать лет, ему тридцать три), а Глория в свои семнадцать в декабре сорок первого вышла замуж за крупного игрока и пьяницу, тридцатидвухлетнего Пэта Дисикко, пресс-атташе самого Говарда Хьюза. Из Трио Золотых Сироток последней непристроенной оставалась Уна, а две ее подруги выбрали себе мужей старше и именитее их самих. Они все одновременно перебрались на Западное побережье. Их приезд произвел в Лос-Анджелесе фурор: свадьба Глории Вандербилт была одним из главных светских событий года, вторым обещала стать свадьба Кэрол Маркус в Сакраменто. Едва сойдя с поезда – где отбывающие на войну новобранцы напоили ее пивом, – малышка Уна О'Нил была приглашена на ужин в «Эрл Кэрролл» двадцатилетним молодым человеком по имени Орсон Уэллс, который хотел (будто бы) поговорить с ней о своем замысле «Великолепия Амберсонов». Он был вдвое выше ее ростом. Уэллс только что расстался с Долорес дель Рио после провала в прокате своего первого фильма

«Гражданин Кейн». Уне был приятен его глубокий голос, но ей не понравился его нос: романа не случилось. Нельзя влюбиться в человека, если тебе не нравится его нос, ведь видеть этот вырост на лице придется часто, и со временем он будет становиться все толще и безобразнее. Орсон Уэллс переживет эту неудачу и через год женится на Рите Хейворт, которой изменит с Глорией Вандербилт-Дисикко (Беверли-Хиллз тесен).

В тот вечер между Уной и Орсоном Уэллсом произошло нечто весьма странное. В конце ужина Уэллс попросил у Уны разрешения прочесть ее судьбу по линиям руки. Уна протянула ему ладошку, и Уэллс, внимательно рассмотрев ее, заявил, что линия любви предвещает скорую встречу с человеком старше ее.

– Не очень оригинально, – хмыкнула Уна.

– Но я знаю, кто это, – сказал Уэллс.

– Вы, я полагаю?

– Вовсе нет. Я говорю о том, кого вы встретите, а не о том, кто ужинает с вами сейчас. Это Чарли Чаплин: вы скоро с ним познакомитесь. И выйдете за него замуж.

Уна расхохоталась и не придавала особого значения пьяным бредням.^[76] В том, что Уэллс упомянул Чаплина, не было ничего удивительного: они близко дружили. В 1941 году Орсон Уэллс предложил Чаплину сыграть главную роль в фильме, который он хотел снять о Ландрю, убийце женщин. Идея так понравилась Чаплину, что он перекупил ее и в 1947-м снял «Мсье Верду».

Бен Хект^[77] так определил старлетку: «Любая женщина моложе двадцати лет в Голливуде, не работающая официально в борделе». Уна не стала старлеткой только благодаря своему отцу. На свадьбе Глории Вандербилт Уна нашла хорошего агента, Минну Уоллис, женщину, десятью годами раньше открывшую Кларка Гейбла. Красивая девушка с громким именем могла быстро перезнакомиться со всеми знаменитостями Лос-Анджелеса: это было куда легче, чем в наши дни. Слава отца, фотографии, не сходявшие со страниц прессы, – у Уны О’Нил было больше шансов пробиться к вершинам киноиндустрии, чем будь она официанткой в баре на Сансет-бульваре. Она читала письма Джерри, но не отвечала на них. Она знала, что между ними все кончено и что он не может выкинуть из головы их историю единственно потому, что находится в казарме.

А теперь я предлагаю вам отчаянно современный опыт. Вместе, дорогой читатель, здесь и сейчас мы создадим роман на YouTube. Объясняю, что надо делать: возьмите ваш компьютер, или айпад, или еще

какой-нибудь навороченный цифровой гаджет. Зайдите на YouTube.com и наберите Oona O'Neill. Поисковик выдаст вам черно-белую картинку, Уну, повязанную косынкой, вот она.



Вы можете оживить Уну О'Нил, кликнув на «play». Уне семнадцать лет, и она только что приехала в Голливуд. 1942 год. Сокровище, которое вы сейчас увидите, – первый и последний актерский опыт Уны О'Нил. Это кинопроба, снятая Юджином Френке для фильма «*The girl from Leningrad*» («Девушка из Ленинграда»), – на этот проект уже дала согласие Грета Гарбо. Уна должна была играть русскую девушку Тамару, отсюда эта косынка, в которой она выглядит принцессой, переодетой в крестьянку. Я приказываю вам полюбоваться этим документом, а потом расскажу о нем. Пусть никто больше не говорит, что я противник технического прогресса – после такой-то киберглавы.

Ну вот, вы увидели Уну О'Нил в семнадцать лет. Согласитесь, она буквально пожирает экран. Камера влюблена в ее детские черты, даже режиссер растерялся. Он обращается к ней, будто к сиротке, найденной где-то на берегу Волги. Просит ее повернуться, чтобы увидеть профиль, правый и левый, оба изумительны. Она смеется смущенным и робким, задорным и ломким смехом. Ее хрупкость как магнитом притягивает

взгляд, несмотря на дурацкую косынку, скрывающую темные кудри роковой женщины. Посмотрите на эти брови вразлет, точно два апострофа над сияющими глазами. Послушайте ее звонкий голосок, когда она спрашивает с вежливостью королевы: «Shall I turn over here?»^[78] Съёмочная группа, позволяющая себе командовать ею, вдруг кажется скопищем неотесанных грубиянов. Все они сознают, какая честь быть в одной студии, дышать одним воздухом с этим ангелом, лучезарным и скованным. Когда она всего лишь краткий миг смотрит в объектив, тысячи чувств мгновенно запечатлеваются на пленке: Она знает, что положение ее не из лучших, боится сплеховать, думает, что она не в меру пафосна, ей хочется быть где угодно, только не здесь, она стесняется, чувствует себя неуклюжей. И в то же время все это ее забавляет, ее дискомфорт становится шалостью, кошачьей прелестью, чистотой и светом, в конце концов, это надо пережить, неприятно, но не больно же. За долю секунды два десятка противоречивых эмоций сменяют друг друга перед глазом камеры: уязвимость, деликатность, страх, скромность, вежливость, усталость, робость, нежность, доброжелательность, доверие, отчаяние, одиночество и т. д. Ее лицо очень подвижно, даже слишком, быть может, нервно, она не может угадать, какого выражения эти идиоты от нее ждут. Она постоянно как бы извиняется за свое присутствие, одновременно смущенно принимая комплименты. Когда она будто бы протестует, восклицая «I don't know what to say...»^[79] вежливым голосом девочки из хорошей семьи, застигнутой врасплох гувернанткой, становятся понятны страдания всех мужчин, встретивших ее в ту пору: они хотят, они должны о ней позаботиться, иначе жизнь прожита впустую. А когда она, в конце этого сказочного ролика, поднимает глаза к небу, она бесподобна, божественна, другого слова не подберешь: поднимает глаза, чтобы посмотреть на небо, откуда она упала и где пребывает сегодня. Перед этим дивным видением невозможно было устоять. На этих редчайших кадрах Она О'Нил оставляет далеко позади Одри Хепберн в амплуа трепетной лани, Натали Портман в амплуа хрупкого фавна, Изабель Аджани в амплуа чувствительной инженерши, Луизу Брукс в амплуа падшего ангела, затмевает Полетту Годдар с ее нескрываемой печалью, Грету Гарбо с ее горделивой томностью, Марлен Дитрих с ее ядовитой холодностью, потому что она естественнее и проще. Ее утонченность не наигранна, она не прилагает для этого ни труда, ни усилий; наоборот, она как будто постоянно старается не привлекать внимания, и это лучший способ завладеть им всецело. Она могла бы сделать колоссальную карьеру, стать звездой, иконой, всемирной и

бессмертной. Уна – не женщина, она принцип. Ее красота сверхсовременна: Трумен Капоте ошибся, она не совершенна, она лучше. Что же произошло? Здесь мы вступаем в тайну Уны, основу ее величия: через несколько недель после этих поразительных проб она окончательно и бесповоротно поставит крест на всех мечтах о карьере в кино.

* * *

Результатов проб у Юджина Френке еще не было, и Минна Уоллис устроила обед, чтобы представить Уну величайшему гению мирового кино, который искал молодую актрису на роль Бриджет, главной героини сценария под названием «*Shadow and Substance*» («Тень и вещество»). Чарли Чаплин пришел к Минне раньше времени. Сидя в одиночестве на полу в гостиной, Уна смотрела на огонь в камине. На ней был черный корсаж с глубоким декольте, который совсем не подходил к более скромной длинной юбке, принадлежавшей ее матери. Магический эффект Уны – лиловый ротик, черные волосы, блестящие глаза отца, прямой нос матери – сработал по своему обыкновению. Вот что пишет Чаплин в своих мемуарах:

«Я никогда не встречал Юджина О’Нила, но, по серьезности пьес, представлял себе его дочь в мрачных красках. <...> В ожидании мисс Уоллис я представился и предположил, что она – мисс Уна О’Нил. Незнакомка улыбнулась. Вопреки моим опасениям, я увидел лучезарную красавицу, очаровательную, слегка загадочную и обольстительно нежную». Он сразу понял, что эта девушка сыграет важную роль в его жизни.

Уну же, всегда видевшую его черно-белым, удивили голубые глаза Чарли. Он изыскан, внимателен, ростом с нее (метр шестьдесят семь), у него то самое знаменитое лицо (только без усиков) и странная, будто танцующая, походка. На нем темно-серый костюм-тройка с голубым, под цвет глаз, галстуком. Ему пятьдесят четыре года. Он похож на Чарли, «маленького бродягу», но преобразившегося в богатого буржуа; много ли актеров стали миллионерами, играя клошаров? Я не уверен, что сегодня такое еще возможно. Разве что Жамель Деббуз: он сколотил состояние на роли калеки из трущоб парижского предместья. Жамель, со своим талантом комика и жестикуляцией, вдохновленной мимикой и танцем, мог бы быть одним из немногих духовных сыновей, которых сам Чаплин признал бы таковыми. Как все профессиональные комики, Чаплин очень серьезен, даже, пожалуй, мрачноват, но он пытается сломать лед:

– Вы давно в Лос-Анджелесе?
– Несколько недель. У меня здесь подруга, она только что вышла замуж, и моя мать тоже живет здесь.
– Минна сказала мне, что вы немного играли в театре в Нью-Йорке.
– О, совсем маленькую роль в мюзикле... Ничего особенного... Инженю в «Блондинке или рыжей» прошлым летом, в театре «Мэпплвуд»...

– Эта пьеса недурна. А почему вы хотите быть актрисой?

Уна задумывается. Заливается краской, потому что знает, что это серьезный вопрос. Чарли чувствует неловкость. Они оба робуют друг перед другом. А между тем Чарли – известный дамский угодник (на самом деле все спутницы отравляли ему жизнь, интересуясь только его деньгами или пользуясь им, чтобы сниматься в кино). Не исключено, что робость Уны – штука заразная: всякий раз, когда она встречает новых людей, повисает молчание. Со временем она привыкла к этому феномену и полагает, что сама виновата: в обществе ей нет равных по части создания дискомфорта.

– Вы не обязаны отвечать... – говорит Чаплин. – Я задал вам нескромный вопрос?

– О нет, не в вопросе дело, дело в ответе. Я хочу быть актрисой, потому что я неинтересна, потому что не знаю, кто я, и чувствую себя никакой, пустой, полрой, потому что если меня просят оставаться собой, я не знаю, что это значит, потому что мне всегда хочется, чтобы кто-то другой подсказывал мне, что я должна говорить. Еще я хочу быть актрисой, чтобы все мне аплодировали и любили меня, но это второстепенно, главное – то, в чем я вам сейчас призналась. Вот. Я хорошо ответила, господин Бродяга?

Молодая женщина была пунцовой, но в глазах ее, влажных, пронзительных, светился вызов. Когда взгляды Уны и Чарли встретились, их глаза одновременно наполнились слезами. Так что неверно было бы говорить об «ударе молнии» – скорее о наводнении. Будь я Борисом Вианом, написал бы здесь то, что он пишет о встрече Колена и Хлои в «Пене дней»: «Кругом воцарилась гробовая тишина, и он почувствовал, что весь остальной мир отныне не стоит для него выеденного яйца».^[80] К счастью, тут вошла Минна Уоллис, иначе эти двое утонули бы, что могло показаться поистине странным. Если бы я писал книгу по-английски, подошло бы прилагательное «awkward», означающее одновременно «странный» и «затруднительный».

– Простите за опоздание, – извинилась Минна, – но признаюсь, я нарочно не спешила, чтобы дать вам время познакомиться. Что вам налить?

- Джин-тоник, пожалуйста, – попросил Чаплин.
- Мне то же самое, спасибо, – сказала Уна. – Не беспокойтесь, как дочь алкоголика, я переношу джин без проблем.
- Уна, – вновь заговорил Чарли, – могу я задать вам еще один нескромный вопрос, обещаю, что он будет последним?
- Да.
- Сколько вам лет?
- Семнадцать.
- Боже мой, – воскликнул Чарли, – мне втрое больше! Обычно я ходил к своим актрисам в отцы, но теперь впервые мог бы быть дедом.
- Не вижу в этом ничего плохого. Я куда зрелее вас.
- Это верно, вы не разгуливаете в дырявых башмаках, с тросточкой, в слишком широких штанах и котелке.
- Вы тоже – в нерабочее время.

Чарли рассмеялся – а Чарли нечасто смеялся чужим шуткам. Такое взаимопонимание с одной из величайших звезд было возможно лишь при условии, что девушка совершенно пьяна или пресыщена дальше некуда. Или же прилетела с другой планеты. Чаплин был очарован: тридцать лет он жил на широкую ногу в Лос-Анджелесе, но ни разу не встречал инопланетянок, кроме разве что Полетты Годдар, его последней жены, с которой он прожил дольше всего и самой умной из всех. Кто читал «Голливудский Вавилон»,^[81] знает, что Чаплин любил молоденьких девушек и нажил из-за этой склонности массу проблем: суды, скандалы, сплетни. Однажды Чаплин похвастался, что до пятидесяти лет переспал с двумя тысячами женщин. Его второй женой была Лилит Макмюррей, в двенадцать лет сыгравшая роль ангела в фильме «Малыш»: она забеременела от него в пятнадцать, а на момент их тайного бракосочетания в Мексике ей было шестнадцать, а ему тридцать пять. Американская пресса едва не растерзала его тогда, и с тех пор он проявлял бдительность, когда ему нравилась молодая женщина. Однако спокойствие Уны его успокаивало: эта девушка не пыталась продать себя как товар или привлечь его, хлопая ресницами на манер Бетти Буп.^[82] Она была хорошо воспитана и скромна, а это все, что ему требовалось после тридцати лет семейных разочарований: немного искренности и простодушия. Не очередная женщина-вамп, которая вертела бы им как хотела, а бескорыстная простушка, расположенная к нему и не видящая в нем врага: не укротительница плеябоя, не охотница за банковским счетом, не подстилка под режиссера – даже роль будущего отца своих детей она к нему не

примеряла, по крайней мере в первый вечер.

– А я в свою очередь, – сказала Уна, – могу задать вам нескромный вопрос?

– Да, если только вы не журналистка.

От этой шутки на щеках Уны обозначились ямочки, особенно обворожительные летом.

– Я хотела бы знать, видел ли Гитлер «Великого диктатора»?

– О, вот уж чего не знаю! Знаю только, что он запретил фильм, как в Германии, так и во Франции. Я, конечно, от всей души надеюсь, что он его видел. Тем более что он украл мои усики!

Чаплин произнес эту фразу как нечто само собой разумеющееся. Будто сказал, что дважды два – четыре.

– Да ну? – удивилась Уна.

– В двадцатые годы он начал отращивать этот квадратный пук волос над верхней губой, как делал я уже с четырнадцатого года. Он всем подражает. Слово «фюрер», например, он стащил у Муссолини, который приказал называть себя «иль дуче». Да, я думаю, что он украл у меня усики! Это особенно смешно потому, что для меня квадратные усики моего персонажа символизируют его тщеславие, так же как шляпа и трость.

– Только у него они настоящие.

– Да, а мои всегда были накладные, откуда вы знаете?

– Вы сказали это в интервью «Лос-Анджелес санди таймс». А почему вы не отрастите настоящие усы? Вы не переносите волос на лице?

Чарли улыбнулся ее дерзости. Эта маленькая язва приятно отличалась от готовых его облизывать угодниц из «Поло Лаунж». ^[83] По ходу разговора ему казалось, что разница в возрасте между ними неуклонно сокращается.

– Я хочу иметь возможность снимать усы, уходя со сцены. Я расстаюсь с моим тесным котелком, широченными штанами, башмаками сорок девятого размера, бамбуковой тросточкой... и с усиками Адольфа!

– Вы мне не ответили: по-вашему, Гитлер видел «Великого диктатора»?

Чаплин рассмеялся: настойчивость собеседницы ему нравилась.

– Я же говорила тебе, Чарли, – воскликнула Минна, – эта крошка с характером!

– Трудно сказать с уверенностью... Я думаю, Геббельс вполне мог устроить ему частный просмотр «Великого диктатора» в Берлине. Гитлер большой любитель кино, каждое его появление на публике тщательно продумано, срежиссировано, скадрировано и смонтировано, как эпизод фильма. Говорят, он называет себя «величайшим актером Европы», но я с

ним не согласен: он переигрывает. В изобразительном решении чувствуется влияние его соотечественников Ланга и Мурнау. Этакая смесь «Метрополиса» и «Восхода солнца»! Вы заметили чередование общих и крупных планов в «Триумфе воли»? Это и создает ощущение силы, упоения, горячки. Прежде чем снять «Великого диктатора», я посмотрел все его пропагандистские фильмы; он, может быть, и позаимствовал мои усики, а я украл у него мегаломанскую съемку с низкой точки и всю мимику: вздернутый подбородок, нервные движения рук, воинственные порывы. Он меня повеселил, хоть и было не до смеха.

– Признайте, было бы забавно, если бы он видел ваш фильм, – улыбнулась Уна. – Хотелось бы стать маленькой немецкой мышкой, чтобы посмотреть на эту сцену... Лицо Гитлера при виде вашего Хинкеля, жонглирующего земным шаром.

– Я полагаю, что через несколько минут он выбежал из зала, крича: «Juden!» и «Дегенеративное искусство!», ^[84] хотя я не еврей и не дегенерат.

– Если и был просмотр, всех устроивших его, надо думать, потом повесили, – вставила Минна.

– Да, насколько я знаю, самоирония ему несвойственна, – согласилась Уна.

– Вот поэтому я и думаю, что он его не видел. Так или иначе, я сомневаюсь, что этот фильм мог его как-либо затронуть. Чтобы написать «Великого диктатора», я прочел его книгу «Майн кампф». Ему неведомы сомнения. Он не из тех, кто задумывается о себе, на это у него нет времени. Он объявляет войну всему миру, вот и все. Его манера скрещивать руки выдает недостаток веры в себя. Не сомневаюсь, что Геринг его «накачивает». Поэтому я поместил рядом с ним толстяка в фильме: Гитлер и Геринг – это как Лорел и Харди! ^[85]

– Это правда, что вы родились в один день?

– Нет, я на четыре дня старше!

– Четыре дня, любопытно... Он в каком-то смысле ваш двойник. Ваш пагубный близнец. Вы, наверно, знаете, что глаза у него голубые, как у вас.

– И мы примерно одного роста.

Чаплин расхаживал взад-вперед по гостиной, преобразившись в Адольфа. Он принялся бормотать что-то, якобы по-немецки, раскатывая «р»:

– Und ich meflünzet dass ich gefünt mein Kartoffeln!

Уна и Минна чуть не поперхнулись джином. Уна восхищалась Чаплином еще с «Огней большого города», то есть с рождения. Как все

дети, появившиеся на свет в двадцатых годах, она выросла на его фильмах, видела их все, в кино или на частных просмотрах у друзей. Больше всего ей нравилась «Золотая лихорадка», но любила она и «Малыша», и «Новые времена» за их социальную остроту и силу, близкие к творчеству ее отца. В сущности, Чаплин был Юджином О'Нилом, только в комическом варианте. Темы всех его фильмов были драматические: голод на Клондайке, сироты, бедность, жизнь рабочего класса, тоталитаризм. И в каждом он ухитрялся показать смешную сторону самых страшных трагедий. Уна начинала осознавать, где она находится и что происходит: нечто невероятное, никогда еще не случавшееся в ее жизни. Беседовать с человеком, чьими «красноречивыми ногами» восхищался Скотт Фицджеральд. Другом Сомерсета Моэма, Эйнштейна и Джорджа Бернарда Шоу. Стоит еще учесть, что вот уже лет двадцать продавались куклы, изображавшие Чаплина, и что он возглавляет «Юнайтед артистс» (одну из крупнейших кинокомпаний, основанную им в 1919 году с Дугласом Фэрбенксом, Мэри Пикфорд и Д. У. Гриффитом). В 1942 году встретиться с Чаплином было все равно что сегодня – с кем-то одновременно столь же популярным, как Рианна, и влиятельным в Голливуде, как Стивен Спилберг. И, невзирая на «чаплиноманию», предметом которой он был во всем мире уже три десятилетия, голубые глаза Чарли оставались ясными, живыми, внимательными и ласковыми. Он ничего не просчитывал, был простым и непосредственным. Неужели со столь великим творцом можно так непринужденно общаться? Или это обычный трюк старого лицедея-бабника, строящего из себя святую простоту? Сама того не подозревая, Минна Уоллис дала ответ на вопросы Уны:

– Чарли, я впервые вижу вас таким. Вы просто сияете.

– Я догадываюсь, что вы хотите знать. Кто тому причиной – вы или Уна. Ну нет, я не попадусь в вашу грубую ловушку и не скажу, что это Уна.

Чаплин не сводил с нее глаз; Уна озаряла гостиную лучше любого светильника. Она была, как и он, миниатюрна, он прекрасно видел, что тело у нее далеко не как у фотомодели (в ту пору говорили «cover girl» или «rip-up»), но Чарли, как всех кинорежиссеров, интересовали только лица. Тела-то не видно на экране, по крайней мере, так было в 1942 году. А вот лицо... это средоточие света.

После обеда у Минны Уоллис Уна без предварительной договоренности приехала на студию Чаплина, чтобы снова увидеться с ним. Сначала ее попросту выпроводили, как какую-нибудь поклонницу. Чарли опасался нового скандала. Однако Минна донимала Чаплина, пока он не согласился предложить ей контракт на будущий фильм. Чаплин

пригласил Уну на уроки актерского мастерства в свой дом на Саммит-драйв. Уна сразу подружилась с сыновьями Чарли, ее ровесниками (Чарльзом-младшим и Сиднеем). Но глаз она не сводила с их отца...

Известие о новом романе Чарли Чаплина с несовершеннолетней дочерью Юджина О'Нила стало скандалом на всю страну. Голливудскую желтую прессу живо интересовала бурная личная жизнь Чаплина. Джоан Барри как раз тогда возбудила против него судебное дело о признании отцовства. Успех вышедшего в конце сорокового года «Великого диктатора» не понравился американскому правительству, стремившемуся выиграть время и сохранить нейтралитет в мировом конфликте. Немало было американских граждан, благоволивших Гитлеру (в том числе, например, Генри Форд и Чарльз Линдберг^[86]), ратовавших за изоляционизм после бойни 1917-го или просто за политику невмешательства и пацифизма. У американцев не было ни малейшего желания снова ввязываться в войну; с начала операции «Барбаросса» большинство их считало, что надо просто дать нацистам и коммунистам перебить друг друга. Поэтому многие были настроены против Чаплина. Эта враждебная атмосфера немало способствовала укреплению уз, связавших его с Уной О'Нил: сладость запретного плода усилила страсть. С ее же стороны события ускорила бурная реакция отца: они оказались в точности в положении Ромео Монтеки и Джульетты Капулетти. Узнав об их помолвке, Юджин О'Нил окончательно порвал с дочерью и умер десять лет спустя, так и не увидевшись с ней больше. Его супруга, посредственная актриса Карлотта Монтерей, ненавидела Чаплина, который никогда ее не снимал. Но главное – О'Нилу невыносима была мысль, что его дочь выбрала себе другого папу. Чарли Чаплин и Уна О'Нил оба были безотцовщиной: он своего отца тоже не знал. Позже оба брата Уны покончили с собой (Юджин О'Нил-младший, трижды разведенный, спившийся и безработный, вскрыл себе вены в ванне в пятидесятом, а Шейн, сидевший на игле, выбросился из окна пятого этажа в Нью-Йорке в семьдесят седьмом). И только Уна выжила, потому что Чарли сделал ее счастливой. Уне пришлось побороться за свое счастье: этого ничто в ее жизни не предвещало, и все же это случилось. В тот день одинокое дитя обрело защитника, подобно Холли Голайтли с ее старым бразильским миллионером. В выборе между возможным и невозможным она не колебалась ни секунды.

*(Письмо на фирменном бланке ресторана «Мюссо и Фрэнк»,
6667, Голливудский бульвар, Голливуд, Калифорния)*

20 мая 1942 года

Дорогой Джерри,

я попытаюсь раз в кои-то веки быть не слишком сложной. Ты же знаешь, мне всегда было трудно выразить словами то, что у меня на сердце. На бумаге, может быть, будет яснее, но когда ты прочтешь мое письмо в первый раз, оно покажется тебе жестоким, о чем я бесконечно сожалею. Перечитай его столько раз, сколько понадобится, каждое слово в нем так продумано и взвешенно, что я уже знаю его наизусть.

Прости, что я оказалась недостойна твоих чувств.

Я живу теперь с матерью в Лос-Анджелесе.

Я не то чтобы начинаю жить заново в семнадцать лет, но почти.

Я просто начинаю жить, моя жизнь начнется через четверть часа.

Я понимаю, что ты заиклился на мне, потому что ты далеко, потому что тебе страшно, и мне тоже страшно, что мы не поймем друг друга.

И все же что-то между нами кончилось.

Ты знаешь, что я восхищаюсь тобой, что твоя необычность меня поражает, и я не жалею ни об одной минуте из тех, что мы провели вместе, даже когда ты не давал мне спать, часами читая вслух свои тексты!

И ты тоже понимаешь, надеюсь, наверняка понимаешь, что между нами все кончено. Это так «obvious».^[87] Если ты этого не видишь, значит либо нарочно закрываешь глаза, либо притворяешься глупее, чем ты есть на самом деле.

Отвратительно, что мне приходится напоминать об этом на бумаге, в письме герою американской армии. Приближение войны должно было бы заставить меня тебе солгать. Но лгать я больше не могу. Не тебе и не сейчас. Ты знаешь, что это было бы с моей стороны чудовищно. Я не смогу жить, оставив тебе хоть малейшую надежду теперь, когда ты готовишься победить Гитлера.

Все «over»^[88] между нами, Джерри: пусть фраза слабовата с литературной точки зрения, но это чистая правда.

Ты навсегда останешься частью моего прошлого, но тебе нет места в моем будущем.

«У нас есть общее богатство – наше драгоценное, наше несказанное прошлое». Ты ведь сам знаешь, что она всегда права, мисс Уилла Кэсер? Я наконец поняла, что она имеет в виду: все пережитое нами никогда не канет в забвение. Это с нами навсегда, и я ничего не забуду. Наша встреча, наши танцы, наши песни, наши книги и наши воспоминания не исчезнут бесследно.

Как ужасно это выяснение отношений!

Я не хочу, чтобы ты страдал от разлуки, которую повлек за собой Пёрл-Харбор.

Но и не хочу, чтобы ты продолжал мне писать так, будто я твоя невеста или будущая жена.

Мне очень жаль. Я некрасива, я глупа и, может быть, даже... влюблена в другого. Освободись от меня, забудь маленькую дрянь из Центрального парка, гадкую «Дебютантку года». Я недостойна твоего мужества. Это письмо – первый подвиг за мою недолгую жизнь ирландки-антисемитки. (Шучу.)

Встав по стойке смирно, я говорю тебе: «Вольно, можете взростеть».

Береги себя, не умирай, не рискуй понапрасну. Ты должен жить, чтобы стать великим американским писателем, как мой отец.

Forgive and forget,^[89]

Уна

P. S. В «Мокамбо» (Л. А.) далеко не так весело, как в «Сторк-клубе» (Н. Й.). Все та же шваль, только в «Мокамбо» попугаи настоящие! Уверяю тебя, ты ничего не теряешь.

* * *

Июль 1942 года

Дорогая Уна,

из газет я узнал хорошую и плохую новость о тебе.

Хорошая новость – ты наконец заинтересовалась тем, что происходит за стенами «Плазы». Ты очень фотогенична на том снимке в «Лайф», где можно видеть, как ты скатываешь бинты для русского фронта в отеле «Лафайет». Еще я видел тебя в рекламе шампуня принимающей пенную ванну и в купальнике у бассейна стоящей на плечах у какого-то парня. Прелестная манера выражать свой патриотизм. Во всяком случае, эти картинки расцвели мою серую казарму. Скажу тебе вкратце, что я узнал за эти последние месяцы: на войне вместо конфетти бросают гранаты. Как видишь, моя жизнь не очень отличается от твоей. Главное – суметь зашвырнуть эту штуку повыше и не оказаться там, куда она упадет.

Плохая новость – это сплетня о твоей связи с Чарли Чаплином. Ты, стало быть, спишь со стариком-англичанином, который давно имеет проблемы с простатой и принимает порошок из шпанской мушки, чтобы пробудить к жизни свой изношенный причиндал. Не знаю, хохотать до колик или плакать горячими слезами над такой мерзостью.

Мне бы следовало задушить тебя в вечер нашей встречи. То ли порошу не хватило, то ли поленился. Я хотел погибнуть на войне, но теперь уже не хочу: к чему, если ты даже не пожалеешь обо мне? Помнишь наши пьяные разговоры на том окаянном променаде в Пойнт-Плезант? Ты сказала мне, что будешь красивой вдовой, но как ты можешь быть моей вдовой, когда выходишь за другого? Если я погибну, ты не будешь никем и ни о чем не вспомнишь. Не думай, это не предложение руки и сердца, просто минутный бунт против твоего равнодушия. Ты цитируешь Уиллу, но забываешь главное: «драгоценное, несказанное прошлое» исчезает навсегда, если человек умирает, и все воспоминания уходят вместе с людьми. Каждая смерть – это куча всякой всячины, обреченной на забвение.

Мне теперь поручено обучать курсантов Авиационной школы военно-воздушных сил в Бейнбридже, штат Джорджия. Странное дело, мне нравится объяснять молодежи, как убивать нацистов, я становлюсь добрым и великодушным, общаясь с новобранцами. Пожалуй, я кончу учителем в лицее со стопкой тетрадей на проверку, с трубкой из маисовой кочерыжки в зубах и пенсне на носу. Приятно нести ответственность за других, к

этому можно пристраститься. Я стараюсь их успокоить, обещая в случае чего опий. Боюсь, я не способен расстаться со школой, мне по душе ее атмосфера, не так одиноко и вместе с тем можно махнуть на всех рукой и прогуляться по полям. Я был прав, не доверяя тебе, но лучше бы я не доверял себе.

Прощаюсь, потому что солдаты развлекались, поджигая зажигалкой свои пердячие газы, и у одного сильно подгорел зад. Как видишь, эта война очень опасна.

Прощай, Безбашенная Ирландка из Беверли-Хиллз. Ты была моим опиумом. Жить без тебя все равно что с ампутированной конечностью.

Джерри

* * *

18 января 1943 года

Далекая Уна,

я вспоминал тебя, отплывая на «Куин Мэри» в Англию. Ты клялась мне, что придеешь помахать белым платочком с пристани, помнишь? Моя мать попыталась тебя заменить, но она так плакала, просто стыд. Надеюсь, твоя беременность протекает хорошо. Я пересек Атлантику с 12-м полком 4-й пехотной дивизии. Теперь нам предстоят учения на юге Англии. Черт, не могу удержаться, ты должна знать, хоть кто-то должен знать, что твой муж – тыловая крыса. Чаплину удалось уклониться от двух войн, потому что он трус. Мы будем сражаться, чего он никогда не делал. Тебя не смущает, что ты вышла замуж за мужика без яиц? За мужика, который рядится в бродяжки лохмотья, потому что ему никогда не приходилось надевать солдатскую форму?

Я по-прежнему ношу с собой пепельницу из «Сторка» и регулярно наполняю ее пеплом и жеваной резинкой. Лучший подарок, который ты мне сделала, был украден в ночном заведении: мне бы уже тогда следовало насторожиться. Ты никогда не дарила мне ничего по-настоящему твоего. Тебе нечего было дать, ты пуста.

От любви еще никто не умирал, не надо верить в эти бредни.

На нашем не-романе поставлен крест, я все понял и пережил эту неудачу. Ты не убила меня, ты меня всего лишь состарила. Но не рассчитывай, что я тебя забуду. Ты научила меня всему: благодаря твоей жестокости я знаю, что такое женщины, я вырос в ускоренном темпе, как те цветы, которые фотографируют раз в день, и они вянут на глазах за двадцать секунд, стоит только склеить кадры. Раньше ты пугала меня, а теперь – знай ты, что я о тебе думаю, – сама бы испугалась. Спасибо тебе за то, что сэкономила мне столько времени: я старел лет на десять за каждую проведенную с тобой неделю. Благодаря тебе мне сегодня 230 лет, и ребята, которые собачатся в моей казарме из-за того, что кто-то сплутовал в покере, даже не подозревают, что спят рядом со своим прапрадедом... Я пишу это, сгорбившись над подушкой, скрючившись, как глубокий старик, на матрасе, кишасщем вшами. Спасибо, спасибо, Уна, за твою холодность, которая так закалила меня. Думаю, война завершит начатое тобой. Я желаю тебе долгой и счастливой жизни с твоей окопавшейся в тылу звездой.

Подпись: тот, кого ты не так давно называла о-Джерри-Джерри, когда он был весел и светел. Как ужасно больше не быть очарованным! Ты притупила мой интерес к жизни. Скоро я физически уподоблюсь Франклину Делано Рузвельту.

Береги себя и не путешествуй пароходом, я слышал, что немецкие субмарины торпедируют их даже в Манхэттенском заливе.

(Письмо не подписано)

* * *

Саммит-драйв, Беверли-Хиллз, июнь 1943 года

Дорогой Джерри,

твое последнее письмо отвратительно. Ты так несправедлив, что мне не следовало бы на него отвечать. За кого ты меня принимал? Мне было пятнадцать лет, когда я встретила тебя. Я была (да и есть, как и ты) слишком молода и глупа, чтобы знать что-либо о любви. Мы с тобой пофлиртовали немного, это было

очень мило, потом жизнь нас развела, как разводит каждый день миллионы влюбленных не менее искренне, чем мы. Ты хочешь, чтобы я чувствовала себя жалкой и гадкой, чтобы я горела в аду только за то, что нам, как всем голубкам Нью-Йорка, было суждено однажды расстаться? Только по одной причине я решила тебе ответить: из-за твоего нынешнего положения. Умоляю тебя на коленях, будь осторожен, не геройствуй и вернись к нам невредимым. Даже если ты не внемлешь моей мольбе и даже если мы больше никогда не увидимся, для тебя же лучше не быть калек, если ты хочешь написать свой великий роман. Сосредоточься на нем и выбрось из головы легкомысленную дурочку, которая теперь замужем за знаменитым стариком. Предпочитаю проигнорировать то, что ты говоришь о Чарли, и отношу эту низкую клевету на счет твоего разочарования. С тобой неизменно моя дружба, мое восхищение, изрядная доля моих мыслей и мое глубокое уважение. Пиши и останься в живых, это все, о чем я тебя прошу. Как я буду гордиться тобой, когда прочту твои книги после этой ужасной войны! Записывай все, что видишь, в блокнотах, которые я тебе подарила. Знай, что и в Беверли-Хиллз известно о выпавших на твою долю тяготах и что даже здесь, под благословенными пальмами на холмах Голливуда, все (и в первую очередь я) молятся за тебя, даже те, кто не верит в Бога. Это мое последнее письмо, но я от всего сердца желаю, чтобы оно принесло тебе только благо, ведь ничего другого я не хотела никогда. Я не стану с тобой ссориться, у меня и не получится, любая гадость прозвучит в моих устах фальшиво. С сожалением ставлю тебя в известность, что просто не способна думать о тебе плохо. И не настаивай! Я все равно буду гордиться тем, что знала тебя, и ты навсегда останешься, смутно, нелепо, нежно, частью моих воспоминаний. Ты мой единственный шанс войти в историю иначе, чем женой кинозвезды! Никому не показывай мое письмо, прошу тебя. Для желтой прессы оно было бы лакомым куском. Я знаю, что ты этого не сделаешь, потому что даже в буйстве и бессоннице твоей казармы ты все равно остался тем изысканным молодым человеком, которого я знала в Гринвич-Виллидж, смеявшимся над нашими с Труменом, Глорией и Кэрл сплетнями и постоянно водившим меня на фильмы, где все в финале кончают с собой. Ты помнишь? Мне никогда не нравились такие эпилоги – слишком просто. Это

оскорбление нашей фантазии. Всегда можно найти лучший выход, чем смерть.

Твоя гадкая девчонка, которая все же целует тебя, стоит ее мужу отвернуться (к софитам!), Уна О'Нил-Чаплин.

VII

Слишком молода для тебя

При виде гитлеровского приветствия, вскинутой руки ладонью вверх, мне так и хочется поставить на нее поднос с грязной посудой.

Чарли Чаплин

Вот что пишет Дж. Д. Сэлинджер в письме, обнародованном на судебном процессе, который он возбудил против своего первого биографа Яна Гамильтона: «Я представляю себе их в спальне вечером. Чаплин сидит поджав ноги на комод и покачивает своей щитовидкой вокруг бамбуковой тросточки, точно дохлой крысой. Уна, в сине-зеленом халате, бурно аплодирует из ванной. Агнес, в купальнике фирмы „Jantzen“, обносит их коктейлями. Я издеваюсь, но мне очень жаль. Жаль Уну, такую юную и прелестную». (Salinger v. Random House, U. S. Court of Appeals 2nd Circuit, No. 86-7957, January 29, 1987.)

Он ставит Чаплину в вину то, что сам будет делать всю жизнь. В первый и последний раз Джерри был влюблен в свою ровесницу.

В книге воспоминаний «История моей жизни» Чарли Чаплин говорит о своей склонности к молодым женщинам: «Очень молодая женщина сочетает в себе маленькую маму и первую любовь. С годами девушка становится любовницей или дамой. Лишь в юной девушке есть все, что только может быть лучшего и прекраснейшего».

Я не понимаю, почему зрелые мужчины, которых тянет на юную плоть, шокируют иных людей, ведь это идеальная пара, о чем сказал еще Платон в «Пире». Многие думают, что похотливых старцев привлекают крепкие грудки и стройные ножки, а между тем больше всего возбуждает их доброта (отнюдь не исключая крепких грудок и стройных ножек). Ласка – наркотик старых развратников. Вкупе с желанием лепить. Мужчине необходимо чувствовать свою значимость, с тех пор как женщина освободилась от него.

Забавы ради я составил список знаменитых пар с большой разницей в возрасте:

– Хью Хефнер и Кристал Харрис (60 лет разницы)

– Иоганн Вольфганг фон Гёте и Ульрика фон Леветцов (55 лет разницы)

– Дж. Д. Сэлинджер и Колин О’Нил, медсестра, однофамилица Уны, на которой он женился в 1988 году (50 лет разницы)

– Жорж Клемансо и Маргерит Бальдансперже (42 года разницы)

– Либераче и его шофер Скотт Торсон (40 лет разницы)

– Пабло Пикассо и Франсуаза Жило (40 лет разницы)

– Хорхе Луис Борхес и Мария Кодама (38 лет разницы)

– Магомет и его третья супруга Айша (от 30 до 40 лет разницы, по мнению историков; когда он встретил ее впервые, она играла с куклой)

– художник Рубенс и Елена Фурман (37 лет разницы; когда он женился на ней в 1630 году, ей было шестнадцать лет, а ему пятьдесят три)

– Чарли Чаплин и Уна О’Нил (36 лет разницы)

– Вуди Аллен и Сун-и Превин (34 года разницы)

– Джон Касабланкас и Алина Вермелингер (34 года разницы)

– Билл Мюррей и Скарлетт Йоханссон в «Трудностях перевода» (34 года разницы)

– Роман Полански и Эмманюэль Сенье (33 года разницы)

– Джонни Холлидей и Летисия Буду (32 года разницы)

– Витольд Гомбрович и Рита (31 год разницы)

– Колетт и Бертран де Жувенель (30 лет разницы)

– Фрэнк Синатра и Миа Фэрроу (30 лет разницы)

– Николас Рей и Натали Вуд (27 лет разницы)

– Пауль Низон и Одиль (26 лет разницы)

– Хамфри Богарт и Лорен Бэколл (25 лет разницы)

– Чарльз Буковски и Линда Ли (25 лет разницы)

– Гумберт Гумберт и Долорес Гейз, она же «Лолита» (25 лет разницы)

– Ромен Гари и Джин Сиберг (24 года разницы)

– Адольф Гитлер и Ева Браун (23 года разницы)

– Брет Истон Эллис и Тодд Шульц (23 года разницы)

– Альфред Стиглиц и Джорджия О’Киф (23 года разницы)

– Джонни Депп и Эмбер Херд (23 года разницы)

– Пьер Абеляр и Элоиза (22 года разницы)

– Питер Богданович и Дороти Страттен (21 год разницы)

– Ги Шеллер и Франсуаза Саган (20 лет разницы)

– Серж Генсбур и Джейн Биркин (18 лет разницы)

Когда я спросил Пауля Низона, почему нас тянет к молоденьким, он задумался и ответил не сразу.

– Тому есть две причины, – сказал он, – кожа и новая весна.

Американская пресса обрушилась на Чарли Чаплина, окрестив его Синей Бородой. Кстати, свой первый послевоенный фильм «Мсье Верду» (1947) он так и собирался назвать: «Синяя Борода». Шумиха была чудовищная, бушевали и публика, и критики.

Сегодня же все актеры старше пятидесяти имеют жен «underaged».^[90]

Вот наиболее распространенные доводы против разницы в возрасте больше двадцати лет:

- он/она предпочитает маленький задок высокому IQ;
- молодой(ая) – продажная тварь и бросит его/ ее ради другого(ой) побогаче;

- он/она не желает, чтобы ему/ей перечили, он/она хочет быть Пигмалионом и создать творение по своему образу.

Опровергнем эти три довода вместе, если вы не против:

- можно иметь маленький задок и высокий IQ, точно так же как можно быть стариком и дураком;

- не катит, если молодая особа уже богата и физически привлекательна (в таком случае она во сто крат сильнее своего якобы благодетеля);

- третий довод неопровержим, в нем-то и есть суть этого щекотливого вопроса.

Уна О’Нил-Чаплин довольно уклончиво высказалась на эту тему в интервью «Дейли геральд»: «Покой и душевное равновесие с Чарли мне дает не его богатство, а именно разница в возрасте между нами. Только молодые женщины, вышедшие замуж за зрелых мужчин, поймут, что я хочу этим сказать. <...> Charlie made me mature and I keep him young».^[91]

Вот бы спросить у них, у «молодых женщин, вышедших замуж за зрелых мужчин»: помимо материального комфорта, их что, в самом деле ободряет безмятежность и умиротворенность стариков? Или все-таки то, что они уже состоялись в своей профессии, уже переспали со всеми женщинами, уже утолили свою жажду? Стало быть, зрелый мужчина – это буддийский мудрец, верный, пресыщенный и надежный, как скала?

Bullshit.^[92] Все гораздо проще: зрелый мужчина выбирает молодую женщину, потому что с ней гарантированно до гробовой доски у него будет перехватывать дыхание всякий раз, когда она выходит из ванной. Девушка же счастлива, что ею так восхищаются, особенно если у нее были проблемы с отцом. В XXI веке девушек без отцов пруд пруди, и этим вволю пользуются все мерзкие старики. Не надо далеко ходить за объяснением их загадочной тяги к зрелым мужчинам: для многих молодых женщин любовь состоит попросту в том, чтобы найти мужчину, способного заменить папу.

Юноши недостаточно восхищаются девушками. Двадцатилетним мужчинам слишком многое предстоит совершить, чтобы заниматься еще и женщиной. Уна влюбилась в Чаплина, потому что его амбиции были позади; Чаплин влюбился в Уну, потому что ее жизнь была впереди. Кстати, после их встречи он снимал только плохие фильмы, настолько был переполнен счастьем. Ему, в сущности, так и не удался переход к звуковому кино: в «Короле в Нью-Йорке», как и в «Огнях рампы» и «Мсье Верду», он переигрывает, увлекается монологами, произносит длинные слезливые речи, намеренно утрируя свой английский акцент, чтобы раздражать американские уши. Когда Чаплин дебютировал в 1910 году, кино существовало для потехи, оно было чем-то вроде фокуса или циркового номера. Тридцать лет спустя он овладел самым действенным искусством всех времен. Из клоуна он превратился в звезду: это не могло не вскружить ему голову в двадцатые—тридцатые годы, но теперь он спустился на грешную землю. Старость успокаивает всех, в том числе и самых амбициозных людей, ибо, когда смерть не за горами, хочешь не хочешь, а присмиреешь: нашлось то, что сильнее тебя.



Разница в возрасте совсем незаметна (ха-ха-ха-ха-ха)

Ламартин в «Грациелле» изложил суть в нескольких строчках: «Ах! Слишком юный мужчина не способен любить! Он ничему не знает цены! Подлинное счастье он может познать, лишь потеряв его! В зеленой поросли лесной больше буйных соков и трепещущей тени; в старой сердцевине дуба больше пламени. Истинная любовь – зрелый плод жизни. В восемнадцать лет ее не знают, ее лишь воображают. В растительной природе, когда созревает плод, листва опадает; быть может, так же и в природе человеческой».

VIII

Самый долгий год (июнь 1944 – апрель 1945)

И ты будешь как спящий среди моря.

Книга притчей Соломоновых (23: 34)

Ута-Бич, Нормандия, 6 июня 1944 года, 6:44.

В ночь с пятого на шестое июня никто в его полку не спал. Именно на этот пляж высадился Джерри семьдесят лет назад с одного из четырех тысяч кораблей, над которыми кружили одиннадцать тысяч самолетов; по счастью, пляж не упирался в крутые скалы, как Омаха-бич. Похоже, что операция «Оверлорд» пахла блевотиной: все на судне мучились морской болезнью, а тех, кто от нее не страдал, рвало от страха. На форме Джерри оказались кусок бекона и кофе, которые даже не успел переварить его сосед. На каждом корабле священник служил мессу. Плыть по Атлантике – все равно что кататься на русских горках: то вверх, то вниз. Поверьте любителю гребли в Гетари, при волне высотой полтора метра кого угодно запросто вывернет наизнанку, даже в мирное время. Слава богу, Джерри не был в первом эшелоне. Пересекая screen smoke (дымовую завесу, созданную американской армией, чтобы скрыть корабли), ему пришлось перешагивать через тела первых жертв, трупы, уже раздувшиеся в волнах. Секрет высадки в том, чтобы не высадиться первым. Роль первых высадившихся – умереть ради следующих. Накануне шестого июня один американский офицер заявил солдатам: «Не думайте об убитых на передовой, шагайте по трупам». Американские летчики писали на своих самолетах девиз римских гладиаторов: «Morituri te salutant» («Идущие на смерть приветствуют тебя»). Солдаты раскрашивали лицо на манер индейских воинов или обривали голову. Командир, назначая передовые эшелоны, знал, что посылает их на смерть. Стало полегче, когда первые немецкие батареи были сожжены из огнеметов горячими головами, взбодренными бензедрином или метедрином (амфетамины, прописываемые якобы для лечения астматиков, а на самом деле чтобы поднять боевой дух джи-ай). По трупам шагать быстрее, и потом, убитый солдат, по крайней мере, не может быть противопехотной миной. Некоторые джи-ай так и

прыгали по мертвецам, точно горные козлы со скалы на скалу. Иные трупы были голые, одежду с них сорвало взрывной волной. Иногда тела стонали под их сапогами: тем лучше для них, к ним позовут санитаров. И повсюду – тонны развороченной техники, джипы и танки под водой, опрокинутые лодки, затонувшие грузовики и выпавший груз: новенькие коробки гуталина, груды уже негодных винтовок и снарядов, бритвы, зубные щетки, сапоги, Библии, брюки, радиоприемники, сигареты, перевязочные пакеты... и множество плавающих в волнах апельсинов. Один друг моей матери жил близ Сент-Мари-дю-Мон: как и многие любопытные, на завтра после высадки он пошел взглянуть на пляж. А потом рассказывал моей матери, что вода еще была красной. Джерри Сэлинджер пересек Красное море, как Моисей.

Семь десятилетий спустя после той кровавой бани я бреду по этому пляжу в час отлива. Сейчас пойду на кладбище поклониться белым крестам. Американцы тоже высадились на этот пляж при отливе, что удивило немцев. Ведь им пришлось преодолевать двести метров: сто по воде и сто по песку. Две самые длинные стометровки! Две минуты полной незащитности под огнем. В той войне люди были ничтожными соринками, «casualties».^[93] Однако благодаря успешным бомбардировкам дотов, подрывным действиям парашютистов ночью и, главное, «шерманам» – танкам-амфибиям, державшимся в воде на широком резиновом круге, точно большие черные буи (в Омахе они затонули из-за сильного волнения), убитых 6 июня на Ута-бич было относительно мало (сто девяносто шесть человек). «Шерманы» – слоны, чьи хоботы плюются расплавленным металлом, они доплыли до песчаного берега и распотрошили бетонные мышеловки, полные белокурых стрелков под первитином или изофаном, спрыснутыми шнапсом. Та война была еще и войной амфетаминов и дури (русские моряки, например, употребляли «балтийский коктейль» – стопку водки с одним граммом чистого кокаина, – превращавший их в «army robots», пьяных от ярости, не знающих устали и нечувствительных к пулям). Дурь отшибает голод и сон, но в больших дозах сводит с ума, вызывает паранойю, депрессию, а может и довести до самоубийства. Гитлер, принимавший кокаин доктора Теодора Морелла в глазных каплях, а вдобавок и в инъекциях, кое-что об этом знал. Кто спит, проиграет войну: надо бодрствовать дольше врага и взять его в оборот, когда он задремлет. Джерри скоро поймет, что в этой войне выживут страдающие бессонницей.

В ожидании этого момента Сэлинджер провел два с половиной года,

но теперь ему хочется оттянуть встречу. «Нельзя ли отложить день X, пожалуйста?» А между тем с января сорок второго до июня сорок четвертого у него было время подготовиться. Он все повторил тысячи раз: положение лежа, камуфляж, как прикрыть напарника, бросить гранату, подобраться к дотам, определить, откуда стреляет враг, как спасать раненых; он научился всегда держать дистанцию и смотреть под ноги, избегая противопехотных мин, и т. д. Результат: под пулеметным огнем каждый спасает свою шкуру! У одного юнца разворочен живот, другой ищет свою правую руку, какой-то дурень смеется, потому что уцелел, и взрывается в следующую секунду, кому-то угодил в глаз оторванный палец, те, кто не молится вслух, пьяны вдрызг. Одно судно подрывается на мине, и десятки людей взлетают в воздух (тридцать девять погибших из шестидесяти пассажиров на борту), вода красная, волны красные, рыбы гибнут сотнями, повсюду на пляже рыбы между трупами и ручейками свежей крови. И шум, несмолкаемый шум, свист реактивных снарядов, залпы батарей, в глазах песок, рвутся 350-миллиметровые снаряды и лопаются барабанные перепонки (не надо пристегивать каску, не то вибрация земли задушит, а то и сломает шею). Может кто-нибудь остановить этот хаос, ПОЖАЛУЙСТА? До самой смерти, тридцать лет или полвека спустя, еще просыпались по ночам, подле своих тихонько подвывающих в постели жен в бигуди, многие ветераны, оглохшие от несуществующей бомбежки, крича и умоляя прекратить этот грохот.

* * *

В то же самое время в девяти тысячах километров оттуда Чарли Чаплин и Уна О'Нил обедали в своем доме 1085 на Саммит-драйв.

Не дом, а просто дворец на вершине холма, с бассейном и теннисным кортом. Уна сидела в кресле, закинув ногу на ногу. Теплый слепополуденный бриз шелестел листьями пальм; за английским газоном простирался Тихий океан.

– Я понимаю, что роскошь может показаться неприличной, – сказал Чаплин, показывая на зеленые холмы, – но, если бы ты знала, в какой нищете я родился, ты, наверно, простила бы мне мое пристрастие к комфорту.

– О, я знаю, где ты родился, я видела «Малыша»: каморка под крышей, где зимой стужа, мальчик греется у дровяной печи, спит одетым... ты ведь это не выдумал, правда?

– Уна, послушай меня. Я не знаю, сколько лет мне осталось жить, но я так счастлив, что проведу их с тобой.

Лос-Анджелес был у их ног (как в прямом смысле, так и в переносном). Уна стала лекарством, излечившим Чаплина от его безумия «womanizing».^[94] Она делала всех остальных женщин невидимыми. Ее возраст был гарантией, что он никогда не увидит ее состарившейся. Чарли всегда поражался, глядя на нее. Между тем он видел Уну каждый день, месяц за месяцем, но видел всякий раз с тем же изумлением, как если бы, ни капли не выпив, увидел в небе летающую тарелку. Счастье для мужчины – когда единственная женщина освобождает его от всех остальных: это такое внезапное облегчение, что кажется, будто ты на каникулах. Чарли достаточно было взглянуть на Уну, чтобы ощутить легкость. Красота, быть может, только для того и нужна, чтобы уберечь от несчастья. Иные эфемерные постройки могут простоять очень долго (взять хотя бы Эйфелеву башню, воздвигнутую в год рождения Гитлера и Чаплина).

До Уны он шел на поводу у своего желания; с ней желание стало лишь каплей в море переполнявшего его счастья. Чаплин долго считал себя неудачником – брошенный пьющим отцом и сумасшедшей матерью, изгнанный из родной страны, задушенный фальшивыми восторгами поклонниц, подсевший на успех и мелкое тщеславие. Все мужчины, а особенно те, что по роду занятий делятся своими эмоциями, – утопленники, ожидающие дыхания рот в рот. Вот как Чаплин сделал предложение Уне в 1943 году.

– Моя жизнь давно перевалила за половину, – заявил он. – Однажды Жорж Клемансо сказал...

– Кто это?

– Французский политический деятель. В восемьдесят два года он сказал своей молодой подруге: «Я научу вас жить, а вы научите меня умереть».

– Вот еще! – ответила Уна. – Я прекрасно живу, а тебе умирать запрещаю.

– Могу я задать тебе три очень важных вопроса?

– Да.

– Ты любишь меня за мои деньги?

– Нет, потому что я хоть завтра могу выйти за какого-нибудь дурака в сто раз богаче.

– Ты любишь меня за мою славу?

– Нет, потому что я уже при рождении была так же знаменита, как ты. Но может быть, я люблю тебя за твои фильмы.

– А, это пожалуйста! Слава богу, что вся эта работа для чего-то пригодилась.

Вдруг очень четко обозначились тени всех предметов вокруг бассейна. В небе пролетел самолет.

– Какой твой третий вопрос?

– Ты выйдешь за меня замуж?

– Но ты был женат уже три раза!

– Вот именно. Я не хочу останавливаться на неудаче.

– Тогда моя очередь задать тебе вопрос. Почему ты хочешь на мне жениться?

– Чтобы ты не выскочила за Орсона Уэллса!

– Нет, я серьезно.

– Посмотри на себя и посмотри на меня! Мне, облезлому седому старику, достался главный приз! Ты – моя награда. Я тебя заслужил... после всех лет моих скитаний. Отныне я никогда больше не буду выглядеть бродягой. Пора сменить наряд.

И точно, после женитьбы на Уне О’Нил Чарли Чаплин в своих фильмах никогда больше не появляется в обличье бродяги и носит только костюм-тройку. Даже мсье Верду восходит на эшафот, облаченный с максимальной элегантностью.

* * *

Шербур, 19 июня 1944 года

Дорогая Уна,

я мысленно сочиняю тебе письма, которые не успеваю записать на бумаге, а стало быть, ты их никогда не прочтешь. Здесь – лишь ничтожно малая часть, которую я едва успел занести на этот клочок. Все вокруг моложе меня! Девятнадцать, двадцать, двадцать один год: в свои двадцать пять я в нашей части старик.

Сегодня утром служили мессу. Капеллан раздавал плоть Христову среди снарядов и раненых. Причащал умерших. А я остался играть в кости с Матиасом из Южной Дакоты и сворачивать сигареты с Оуэнсом из Нью-Джерси. Он напомнил мне о тебе. Как там наш пляж в Пойнт-Плезант? И вот что я подумал: в сущности, Нормандия – напротив Нью-Джерси. В

конечном счете я будто бы высадился на пляж твоего детства, заменив дощатый настил дотами.

Идет дождь, и один чернокожий из моего взвода распевает блюзы, нагоняя на всех тоску. Я все время спрашиваю себя: «Какого черта я здесь делаю?» – но с этим вопросом надо бороться, гнать его неустанно, не давать ему себя стреножить. Этот вопрос – смерть всему. Даже в Нью-Йорке можно было им задаваться, в «Сторке» или еще где: «What the fuck am I doin' here». Если думать об этом, делать не будешь ничего. Я предпочитаю думать о тебе, Уна. Твое лицо – моя религия. Я не буддист, я унист. Я знаю, что это все пустое, что ты вот-вот родишь своего первенца, но я цепляюсь за эту романтическую муку, чтобы забыть физическую боль и панический страх. Мы не решаем, что нам чувствовать, – мы чувствуем, что можем, чем запаслось сердце, то и идет в ход, а мое все еще полно тобой. Ты помогаешь мне. Нет, не ты – твой образ. Ты в образе невинного младенца, который жалуется на все и с дощатого настила под гудение дрянной шарманки посылает соленые поцелуи на противоположную сторону Атлантики. Ты не была женщиной – ты была понятием: любовь невозможная, утраченная, любовь оскверненная, та, что разбивает сердца и все равно не может не умилять. Ты причинила мне столько боли, что я даже не в обиде на тебя, с ума сойти, до чего ты все-таки сильная. Твое лицо стало маской Бога. Ты его дублерша, копия, замещающая Его ради высшего совершенства, плотское отражение иной истины. Твой выпуклый лоб, твой влажный взгляд, твой сладкий голос, твое чистое сердце – что еще нужно, чтобы обмануть мою жажду святости под небесами из расплавленного металла?

Я перестал ненавидеть тебя, едва ступив на этот французский пляж. Тут, кстати, надо смотреть, куда ступаешь, кругом шпринг-мины, щелк, а потом бабах – и у тебя нет ног. Только что один бедолага услышал такой щелчок под сапогом и не мог больше сдвинуться с места, так и стоял, горько рыдая, остолбеневший, трясущийся, на железной тарелке – это все равно что граната с выдернутой чекой, только плоская, – стоял и ждал, когда ему оторвет яйца. С этой минуты о нем, хоть и еще живом, можно было говорить в прошедшем времени. Потом я отвернулся, а после взрыва не осталось ничего, кроме пары его сапог, наполненных кишками, точно две кожаные вазы. Я не

знаю, как звали этого парня. Еще одна пакость – когда граната падает к твоим ногам. Надо быстро поднять ее и отбросить. Иногда вместе с ней улетает рука.

Трудно объяснить, что чувствуешь среди этого хаоса. Страшно даже смотреть вокруг. Боишься привязаться к тому или иному парню, которого вскоре может не стать. Странное ощущение: пригибаешь голову, сутулишь плечи, не прячась от огня, а чтобы не видеть, что происходит. Стадо страусов, бегущих зигзагами, – вот что такое эта высадка. Тысячи мужчин в мокрых носках отчаянно петляют, чтобы не стать мишенью. Я никогда не думал про себя: лишь бы попали в соседа. Никогда. Я думал так: забудьте обо мне, не стою я того, чтобы в меня целиться, не смотрите на меня, я никому не интересен и никого не хочу убивать. Не стреляйте в меня, и я не буду в вас стрелять. По-немецки «Leave me alone»^[95] будет «Lass mich allein».

В конце концов, перебегая от воронки к воронке через гейзеры артерий, которые окрашивали мою форму в алый цвет, я молился. Мысль, что умереть – случайность, а выжить – везение, слишком унижительна; молитва придает хаосу структуру. Зачастую битва переходит в драку, и того и гляди получишь каской по физиономии. Заклинит пистолет от попавшей в него песчинки – чего-чего, а песчинок, поверь, на этом пляже хватает, – и возвращаешься к старому доброму мордобою, как, бывало, в пабах Берлина и Нью-Йорка: бьешь кулаками, прикладом, молотишь ногами по голове лежачего, камнями по яйцам, штыком или ножом в живот... Порой иные психопаты добавляют перчику (отрезают язык, нос или уши, выковыривают ложкой глаза и т. д.). К чему тратить все эти миллиарды на военную технику и транспортировку боеприпасов, если дело кончается, как потасовка пьянчужек на Таймс-сквер, расквашенными носами, заплывшими глазами и выбитыми, доской ли, ружейным ли стволом, зубами?

Это урок скромности для наших великих генералов и их штабных карт. Им невдомек, что иные мосты, деревни, дороги мы брали попросту голыми руками, держа головы бошей под водой до тех пор, пока они не переставали дрыгаться. Современная война быстро возвращается в Средневековье, им бы оставить нам мечи как у японцев. Эта драчка-войнушка тем хороша, что ведется на человеческом уровне: ты знаешь того, кого убиваешь,

в лицо, оно в десяти сантиметрах от твоего и честит тебя на языке Гёте. Ты никогда его не забудешь, особенно если ему восемнадцать лет и он зовет свою «мутти». Это как танец сплетенных тел с воплями, чтобы придать себе мужества, бой гладиаторов на античной арене, именуемой Шербурским полуостровом. В том ближнем бою французы, натренированные в регби, были успешнее других. Они-то наловчились пальцами выдавливать глаза противнику и ломать ему ноги и руки. Враг, имеющий дело с регбистами с Юго-Запада, кончает калеккой с перебитыми конечностями, стонущую тушку приходится уносить на носилках. Все чисто, ни одного трупа и ни одного истраченного боеприпаса. Если только не считать гранитным боеприпасом выломанный из каменной ограды булыжник, которым ты бьешь что есть силы, чтобы расколоть надвое череп лежащего немца.

А два дня спустя мы шли по разоренным деревням, по городам, сметенным нашими самолетами и танками, и французы благодарили нас за то, что у них нет больше крова, невзирая на мертвых коров на лугах с облепленными мухами глазами, на вонь от разлагающихся лошадей и раздутых трупов. И мы снова ели землю. Это не метафора: на полях Нормандии выпущенные из танков снаряды землю буквально вздымали, а когда она осыпалась, ты вдыхал ее, ты жевал ее, ты глотал земляной бифштекс. Да, уж я закусил так закусил доброй частью Нормандии. Франция имеет вкус пепла и пыли с легкой примесью коровьего навоза, а еще больше – дробленого кремня (снаряды разбивают булыжники, и пахнет битым камнем, и обломки сыплются тебе на спину, вот, оказывается, как в старину побивали камнями!). Иное дело, если идет дождь: тогда Франция пахнет холодной грязью, дождь делает войну дряблой, моросит железом под водой, и расплавленное небо проливает на наши спины океан металла. Бомбы – это проще всего: когда слышишь свист, живо ложись и жди взрыва. Если тебя не разнесло в клочья, не вздумай сразу поднимать голову, после того как бабахнет: осколки летают в воздухе еще две секунды. Я устал, но здесь не сомкнуть глаз, не потеряв жизнь. Если спишь – ты мертвец.

Вероятности, что я уцелею, с каждым днем все меньше. Советую тебе поставить в лотерею на мою дату рождения: я пока что везучий.

ЧЕГО НЕ РАССКАЗЫВАЮТ ФРАНЦУЗАМ О ВЫСАДКЕ СОЮЗНИКОВ (ни в коллеже, ни в лицее, ни в «Самом длинном дне», ни в «Спаси рядового Райана»):

- Подавляющее большинство солдат были одурманены наркотиками или пьяны (как в четырнадцатом году);

- Многие писались от страха и делали под себя, отчего стояло зловоние;

- В освобожденных деревнях было множество случаев изнасилования, ибо американская армия (вслед за немецкой) сулила своим солдатам Францию как бордель Европы; полевые медсанчасти заполнили солдаты, зараженные венерическими заболеваниями; с июня сорок четвертого по июнь сорок пятого двадцать девять американских солдат наскоро судили и расстреляли за изнасилование (среди них двадцать пять чернокожих джигай, жертвы расовых предрассудков, как французских, так и американских – см. ниже);

- Жены немецких солдат стреляли по американским войскам;

- Как следствие, французские гражданки, принятые за снайперов, неоднократно бывали арестованы, а то и расстреляны американскими солдатами;

- Многие молодые француженки отдавались за кусок хлеба или мыла, пачку сигарет «Лаки Страйк», плитку шоколада «Херши» и даже за жевательную резинку;

- Сотни немецких солдат были уничтожены, когда выходили из бункеров с поднятыми руками; зато других сдавшихся угощали сигаретами или шоколадом;

- Некоторые солдаты мародерствовали, грабя трупы, например выковыривали штыками золотые зубы; иногда бош был еще жив, когда с ним проделывали эту операцию;

- Немцы, со своей стороны, не брали пленных (например, приземлившихся раненых парашютистов приканчивали ударом ножа); иные фанатики поднимали белый флаг и, сделав вид, будто сдаются, предательски стреляли с криком «Хайль Гитлер!», после чего их кромсали на куски; многие, подобно японцам, кончали с собой в бункерах;

- Прибывшее после высадки союзников немецкое подкрепление

состояло из плачущих подростков от тринадцати до семнадцати лет; иногда французы просто забивали их до смерти;

– Случаи дезертирства в вермахте были редки, так как карались смертью, зато куда более многочисленны в US Army, где был расстрелян только один дезертир (Эдди Словик, отказавшийся сражаться в Хюртгенском лесу);

– Изрядную долю американской армии составляли чернокожие солдаты (около пятидесяти тысяч), которых называли «segregated». Их не допустили на парад на Елисейских Полях, чтобы «обелить» образ американской армии; в этой войне против расизма высокие американские чины повели себя как куклуксклановцы; военные трибуналы обвиняли «ниггеров» во всех злоупотреблениях и карали строже, чем белых (девятью шесть расстрелов за убийства и изнасилования); 2-я танковая дивизия генерала Леклерка тоже была «обелена» по требованию американцев, не желавших, чтобы в освобождении Парижа участвовал хоть один чернокожий (Де Голль уступил: 25 августа 1944 года ни один из африканских солдат, участвовавших в боях, не вошел в столицу);

– Во Франции было двести концентрационных лагерей – почему же говорят только о Дранси и помалкивают о Сен-Дени, Компьене, Мулене, Роменвиле, Френе, Виши (десятки тысяч умирающих от истощения узников были освобождены союзниками на французской территории); шестьсот тысяч человек содержались в этих «лагерях интернирования»: евреи, участники Сопротивления, цыгане, испанские беженцы, «враждебно настроенные гражданские лица», коммунисты... Кроме Штрутхофа (единственного нацистского лагеря), всеми остальными «заведовали» французы. Десятки тысяч французов служили охранниками в казармах, замках, бывших санаториях и бараках, построенных самими узниками. Условия содержания были ужасны: холод зимой, жара летом, общие туалеты на улице, крысы, вши, тараканы, блохи, всевозможные эпидемии, никакой медицинской помощи, и никто не ел досыта. Узники дрались за картофельные очистки и капустные кочерыжки; иногда всю пищу детей составляло ведро с куриными костями;

– Предупрежденный об истреблении евреев в конце сорок второго года Яном Карским^[96] (а также появившимися в «Лайф» фотографиями варшавского гетто), президент Рузвельт всерьез планировал высадку союзников весной сорок третьего; отложив ее на год и три месяца, он не мешал нацистской машине смерти работать на полных оборотах до апреля сорок пятого года: по данным Рауля Хильберга,^[97] около миллиона трехсот

тысяч евреев было убито за этот период (весна сорок третьего – весна сорок пятого года);

– С осени сорок третьего года, целясь в военные заводы, мосты, железные дороги и порты с недостаточной точностью, американские бомбардировщики В-17 и В-24 сбрасывали бомбы на землю Нормандию. Список уничтоженных городов и деревень слишком длинный, чтобы приводить его здесь. Число убитых гражданских лиц во Франции колеблется, по данным разных историков, от двадцати до пятидесяти тысяч человек, то есть вдвое-втрое больше числа жертв Лондонского Блица^[98] (который продолжался восемь месяцев). Шестьдесят пять процентов разрушений Второй мировой войны во Франции приходится на время освобождения страны (июнь – август сорок четвертого года) против всего двадцати процентов во время боев во Франции (май – июнь сорокового года). Три тысячи французских граждан погибли в первые два дня после высадки союзников – столько же, сколько было убито американцев. Всего лишь один пример: Кан бомбили с шестого июня по девятнадцатое июля сорок четвертого года. Семьдесят пять процентов города было разрушено, насчитывалось от трех до пятнадцати тысяч жертв. А Макс Гастингс^[99] в «Операции „Оверлорд“» утверждает, что бомбардировка Кана была «одной из самых незначительных атак с воздуха за всю войну». Тема стала табу во Франции, так как этот побочный ущерб был одним из главных аргументов нацистской и вишистской пропаганды против «американского вторжения».

Когда воин-освободитель входит в дом с оружием в руках, даже если он пришел с миром и его встречают с улыбкой, с распростертыми объятиями, все равно за ним остается абсолютная власть, которой он может столь же абсолютно злоупотребить. Когда американская армия входит во французский город, четыре года оккупированный немцами, никому ее не остановить и нет больше законов. Да, солдаты принесли свободу и демократию. И все же они «захватили» (именно это слово употребляли американские генералы) страну, которую считали – совершенно справедливо – зараженной нацистской идеологией, страну, проигравшую войну, страну нищеты, черного рынка, проституции и коллаборационизма. Грабежи, драки, избиения, изнасилования и даже убийства останутся по большей части безнаказанными. Семьдесят лет спустя бесконечная, неизменная и вечная благодарность за все, чем обязана моя страна самоотверженности союзных войск, больше не застит нам глаза на их бесчинства. Возьмите два миллиона мужчин и бросьте их в униженную, замаранную, обнищавшую и опозоренную страну: не может быть в такой

операции все чинно-благородно.

Вам никогда не понять, что такое война, если вы не учились стрелять. Человек, которому дали в руки оружие, преобразается. Я в жизни не чувствовал себя сильнее, чем в тот день, когда с пятидесяти метров выбил один из лучших показателей в стрельбе по неподвижной мишени из моей штурмовой винтовки в 120-м пехотном полку. Я до мельчайших деталей помню силу выстрела, когда лежишь, не дыша, прижав приклад к плечу, очки к оптическому прицелу. Я превратился в хладнокровного и кровожадного снайпера. Представьте теперь не одного обыкновенного человека, вдруг ставшего убийцей, а тысячу, десять тысяч, два миллиона суперменов, чьи пальцы плюются огнем. Вот тогда вы начнете постигать упоение в бою. И военная форма тоже преобразует людей. На съемках «Великого диктатора» Чаплин, одетый военным, превращался в злобного и раздражительного тирана. Переодевшись в Чарли, он вновь становился прежним Чаплином, деликатным, легким и воспитанным. Поди объясни этим суперменам, что они пришли защищать права человека и протестантскую мораль. Только одно слово будет у них на уме: freedom. Freedom to eat, drink, fuck, rape, steal, have fun, dance, kill and kill again until you explode.^[100]

Американские солдаты насмехались над французами:

– Ну и сильны они, Frenchies.^[101] Где они, когда надо умирать за родину? А думаешь, французы пришли бы умирать за Арканзас? Высадились бы в Майами, чтобы спасти Флориду?

Джерри защищал Францию.

– Французы – европейские Ганди. Приняв поражение, они спасли свой народ. Если никто не воюет, нет и убитых, дружище. Поразмысли-ка об этом. Никто не стреляет – вот проблема и решена.

Уна лежит в шезлонге, на ней цельный купальник, ноги полощутся в воде бассейна, ее ногти наманикюрены, черные волосы убраны под черную, в тон, шляпку. Джерри не выносит рева раненых животных: ржания растерзанных лошадей, мычания коров со вспоротыми животами... ему легче, когда он слышит выстрел милосердного товарища, заставляющий их замолчать. Уна вальсирует с матерью в серой гостиной: роман Агнес «The Road Is Before Us»^[102] (который изначально назывался «Tourist Strip») получил хорошие отзывы в «Нью-Йорк таймс» и «Ньюйоркер». Придавленный тяжестью вещмешка Джерри ползет через колючий кустарник. Уна и Чарли входят в «Мюссо и Фрэнк», метрдотель

проводит пару к столику, они кивают, здороваясь с сидящими в зале звездами. Джерри спит на ходу, держась рукой за плечо идущего впереди джи-ай. На своем теннисном корте Чарли Чаплин объясняет Уне, как правильно подавать мяч. Джерри смотрит на парашютистов, падающих с неба, точно зеленые абажуры (некоторые убиты еще в воздухе). Уна слушает новости по радио, доедая пирожное. Мокрый насквозь, обессиленный, простуженный, Джерри едва идет из-за волдырей на ногах. Однажды вечером в Нью-Йорке, в кабаре «Парижская жизнь», оркестр по просьбе Марлен Дитрих исполняет «Марсельезу» в честь французского Сопротивления; Уна и Чарли стоят навтыжку.

IX

Отель «Риц», 26 августа 1944

Никогда не потешайся над любовью. Просто есть люди, которым так никогда и не выпадает счастья узнать, что это такое. Ты тоже раньше не знал, а теперь узнал. То, что у тебя с Марией, все равно, продлится ли это полтора дня или многие годы, останется самым главным, что только может случиться в жизни человека. Всегда будут люди, которые утверждают, что этого нет, потому что им не пришлось испытать что-либо подобное. Но я говорю тебе, что это существует и что ты это теперь узнал, и в этом твое счастье, даже если тебе придется умереть завтра.

Эрнест Хемингуэй. По ком звонит колокол, 1940. Перевод Н. Волжиной и Е. Калашниковой

Джерри теперь двадцать пять лет, он сержант. Из трех тысяч восьмидесяти человек 12-го пехотного полка, высадившихся с ним в Нормандии, двух третей уже нет в живых. Цифра, говорящая сама за себя: из ста пятидесяти пяти офицеров сто восемнадцать были убиты между шестым и тридцатым июня сорок четвертого года. Двадцать пятого августа его полк первым вошел в Париж через Порт-д'Итали. Его окружает ликующая толпа, осыпая цветами. На авеню Раймон-Пуанкаре какая-то девушка дарит Джерри бутылку красного вина, которую прятала четыре года. Чуть подальше женщина протягивает ему своего младенца, чтобы он его поцеловал... а потом подталкивает к нему свою прабабушку! Он зацелован, залит слезами.

Сэлинджер понятия не имел, во что его превратит эта война. Как офицер контрразведки, он изучает аэрофотосъемку, просматривает записи телефонных переговоров, переводит полученные по радио сообщения на немецкий язык, допрашивает пленных. В военное время офицеры контрразведки – не Джеймсы Бонды, а думающие головы, которые должны

синтезировать все данные, чтобы максимально быстро предупреждать войска о том, что ждет их завтра. Как расположены орудия противника, где у него слабые точки, каковы его планы и т. д. Джерри владеет французским и немецким, что делает его незаменимым. Продвигаясь по Парижу, его отделение обнаруживает коллаборациониста, но им завладевает толпа и забивает до смерти у него на глазах. Француз с расколотым черепом – «как может расколоться цветочный горшок»: подобная сцена есть в романе «По ком звонит колокол». Джерри обожает Хемингуэя. В сущности, его занесло на эти галеры, потому что он хотел стать Хемингуэем.

Сэлинджер слышал, что самый знаменитый американский военный корреспондент остановился в «Рице». Он, молодой новеллист, хочет во что бы то ни стало встретиться с мэтром. Мобильных телефонов еще не существует, и он идет напролом. Берет армейский джип, мчится в «Риц» на Вандомскую площадь и спрашивает в холле мсье Эрнеста Хемингуэя. Разрывающийся за стойкой портье говорит ему, что мистер Хемингуэй в баре! Усач хорохорится в окружении свиты солдат, со стаканом бордо в руке. Он утверждает, что освобождал отель. ^[103]

К великому изумлению Джерри Сэлинджера, когда он, заикаясь, представляется: «My name is Salinger, Jerome Salinger», Хемингуэй радостно приветствует его как старого товарища и приглашает за свой столик в баре, тот самый, который со временем будет носить его имя. Сорокапятилетний Хемингуэй без пиджака, в рубашке и грязных армейских брюках; его сопровождает французский партизан по прозвищу Марсо и молодой американец. У него пышные усы, ежик волос с проседью и намечающееся брюшко. Он посылает по статье в месяц журналу «Кольерс», который опубликовал новеллу Сэлинджера «Виноват, исправлюсь» ^[104] в июльском номере сорок первого года. Хемингуэй узнал Сэлинджера по фотографии в «Эсквайре» и помнит его новеллу «Душа несчастливой истории». «У вас есть новые тексты? Покажете?» Сэлинджер достает свежий экземпляр «Сатердей ивнинг пост» с одной из своих новелл: «День перед прощанием». ^[105] Хемингуэй читает и аплодирует. Заказав выпивку, собравшись по перу беседуют добрых два часа.

– Вы хотя бы знаете, чего здесь ищете?

– Нет, зато знаю, что потерял.

Поначалу оба не снимают масок: великий писатель, гордый собой, льстивый салажонок... Такие курбеты – классика литературной жизни.

Новелла «День перед прощанием» была написана в Англии перед высадкой союзников и опубликована в июле сорок четвертого года в

«Сатердей ивнинг пост». Это рассказ о сержанте Джоне Ф. Глэдуоллере-младшем, который должен вновь отправиться на войну, хотя ему больше нравится читать «Анну Каренину» и «Великого Гэтсби». К нему приходит в гости лопоухий солдат, двадцатидевятилетний Винсент Колфилд, чей младший брат Холден пропал без вести. Дело происходит где-то близ Нью-Йорка, зима, идет снег, Джон катает на санках свою сестренку Матильду и думает: *«Я счастлив, как никогда в жизни. Ладно, стреляйте в меня, коварные японские снайперы, плевать мне на вас!»* Винсент Колфилд делает предложение десятилетней Матильде. *«Со штатскими у нас больше нет ничего общего. Они не знают того, что знаем мы...»*^[106] С каждым опубликованным текстом стиль Джерри становится все мрачнее, обретая своеобразие и безумие.

Мало-помалу выпитое оказывает свое действие. Джерри, втайне предпочитавший Фицджеральда, приятно удивлен разницей между Хемингуэем – публичным лицом и Хемингуэем-человеком. В Хемингуэе тоже есть свой надлом. Джерри расскажет об этой встрече с Хемингуэем в письме от 4 сентября 1944 года своему учителю Уиту Бернетту, главному редактору «Стори»: *«Он показался мне мягче, чем его проза; устно он не так суров, как письменно»*, и даже найдет его *«простым и обаятельным»*. В отличие от Фицджеральда, Хемингуэй во хмелю не был агрессивен и искренне заинтересовался начинающим автором.

– Я надеялся, что война вдохновит меня на книгу, – сказал Джерри. – Но теперь даже говорить об этом не хочу.

– Я тоже так думал в ваши годы, – ответил Эрнест. – Но те, кто пережил войну, говорят только о ней, даже когда о ней не говорят. Ею буквально пропитаны все ваши новеллы в газетах.

– Вернувшиеся с Первой мировой только о ней и говорили своим детям, чтобы объяснить, как это было ужасно, но что она, однако же, сделала их мужчинами, героями, вернувшимися из ада, и тому подобную хрень. И что же в результате? Дети захотели того же самого. Поэтому я торжественно клянусь никогда и никому о ней не говорить. Всем, кто воюет на этой новой войне, следовало бы помалкивать. Война будет... нашим айсбергом, верно?

Хемингуэй улыбнулся. Беседуя с собратом по перу, он отдыхал душой, и это было отрадно. Он иногда сравнивал свое творчество с верхушкой айсберга, и теперь ему приятно, что желторотик об этом помнит. Трудно себе представить, до какой степени редки в жизни писателя глубокие замечания о творчестве, даже в интервью, критических статьях и беседах с коллегами. Чтобы начинающий юнец высказал дельное соображение о

вашем творческом методе – такие аномалии случаются в жизни художника четыре-пять раз, не больше.

– Война – подводная часть, – продолжал Джерри, – то, что написано на странице, – лишь одна восьмая виденного, так?

– Писать не значит выкладывать все, – кивнул Эрнест, – надо выбрать деталь, которая разит наповал.

– Я пытаюсь, но отсекаю мало лишнего.

– Отсекать лишнее – всегда проблема, – сказал Хемингуэй, глядя на свою сигарету. – Вы читали Библию? Старую, короля Якова.^[107] Почитайте Книги Царств, это образец повествования. Я все позаимствовал оттуда, лаконичность абсолютная...

– В романе «По ком звонит колокол», – продолжал Джерри, черкнув в своем блокноте «Библия короля Якова: Книги Царств», – у вас есть образ: череп, расколотый, как цветочный горшок. Мне случалось видеть разбитые головы, но, по-моему, они похожи скорее на взрезанные дыни, треснувшие арбузы, лиловых осьминогов, цветную капусту в пузырях... например, клочок волос, вывороченный, как ком земли, на которую кто-то пролил малиновое варенье и яичный белок. Так странно, когда парень со всем этим месивом на голове еще жив и зовет тебя на помощь, весь дрожа, вытаращив глаза... Ох, fuck, извините.

Джерри залпом опрокинул стакан, борясь с тошнотой. Хемингуэй съел кусочек сыра. Руки у него дрожали, как у Юджина О'Нила, хоть тот и не воевал (его в семнадцатом году комиссовали по состоянию здоровья). Джерри достал из вещмешка белую пепельницу и протянул Хемингуэю. Тот, узнав ее, прыснул и раздавил окурок сигары о нарисованного на дне наглого аиста.

– А, как же, «Сторк», лучшее там – крабы, я часто вспоминал их в Испании, когда приходилось обедать супчиком на воде да апельсином. Мы вернемся туда до зимы, по крайней мере, я на это надеюсь... Зимы в Германии слишком суровы. Надо непременно разделаться с ними пораньше. Так о чем мы говорили?

– О черепе, похожем на расколотый цветочный горшок.

– А, yes, цветочный горшок. Это был труп, пролежавший несколько дней, в Испании. Череп, видимо, раскроили прикладами уже после смерти. И он был лысый. Без волос кость была похожа на разбитое яйцо, но цвета охры или, скорее, терракоты, наверно из-за разложения, а может, от грязи. Точь-в-точь разбитый цветочный горшок на улице, знаешь, когда, проходя по тротуару, говоришь себе: «Вау, еще пара минут – и это упало бы мне на голову».

– Ха-ха-ха! «Еще пара минут»... Я говорю это себе каждую минуту после дня X. Мы что ни день чего-то счастливо избегаем. Айсберг – это мы, выжившие, а невидимая часть – наши мертвецы, все эти трупы под толщей воды.

– Ты напомнил мне Гертруду Стайн. Однажды, когда я был у нее, она мне сказала: «Не то важно, что дала тебе Франция, а то, чего она у тебя не отняла». Долго до меня доходило, что она имела в виду, мужененавистница наша.

Подобно тысячам других американцев, высадившихся во Франции в сорок четвертом году, они делали вид, будто им все нипочем. Алкоголь и черный юмор – только это и помогало выдержать. Так врачи скорой помощи в больницах, в самом страшном ожоговом отделении, заставляют себя шутить, не то катались бы по полу, вопя еще пронзительнее пациентов. Отель был переполнен; демократия вновь вступила в свои права; повсюду царил прежний кавардак. Страх сменил диспозицию, немцы удирали по крышам, а коллаборационисты хоронились в канализации. Было странно, что можно крикнуть на улице «Fuck Гитлер!», не боясь, что тебе загонят спички под ногти.

– Но цветочный горшок – это еще и чтобы избежать сравнения с чем-то живым. Понимаешь, Джерри, если ты вздумаешь сравнивать мертвецов с животными, или с плодами, или с кровавым мясом, это в точку, но не так поражает, как неодушевленный предмет.

– Вы пишете натюрморт?

– Нет, мой милый, я описываю мертвеца.^[108] Откройте еще бутылку, Альбер, пожалуйста, – сказал Хемингуэй официанту по-французски. – Хочешь быть правдивым – плюй на реализм. Дело не только в правде, дело в воздействии на читателя. Вот чего я искал: сравнения, от которого впору содрогнуться. Но малиновое варенье – это находка.

– Это придает сладковатый привкус. Вкус – вот что поражает!

Они одновременно расхохотались.

– Да! Sugar! More sweet!

– With bubbles like Coca-Cola!

Метрдотель «Рица» поспешил принести сахарную пудру, в ужасе от этих двух пьяниц, походивших на отца и сына; что такое кока-кола, он еще не знал. Несколько недель назад этот человек исполнял приказания, отдаваемые по-немецки капитаном Эрнстом Юнгером, ужинавшим с Коко Шанель и Саша Гитри, а теперь ему приходилось наскоро осваивать английский, чтобы обслуживать американских военных.

– Позавчера, – напомнил метрдотель, – здесь еще были боши и

требовали кокаина и девочек! Я им говорю: «Господа, пора вам делать ноги, америкосы близко, они вас привяжут за яйца к буферу машины и протащат по улице Риволи».

– Альбер, – сказал Хемингуэй, – давайте-ка опустошите ваши погребя, не то этот парень посадит вас за пособничество врагу.

– Я бы даже сказал, за братание с оккупантом, – вставил Джерри.

Когда Альбер, обливаясь потом, ушел, Джерри продолжил:

– Последний расколотый череп я видел сегодня утром. Одного коллаборациониста на моих глазах линчевала оголтелая толпа французов, превратившихся в диких зверей. Бог весть, что сделал этот парень. Ему разбили голову молотком, как... как кокосовый орех. Самое странное – он даже не защищался, не кричал, что ни в чем не виноват, не умолял, как это бывает обычно. Будто бы считал правильным, что его убивают.

– Он, я думаю, ждал наказания четыре года, – кивнул Хемингуэй. – А вот я видел, как парню засунули в зад автомобильный насос. Его надули, как спасательный круг. Никогда не слышал, чтобы человек так орал. Он умолял его прикончить.

– А вы не могли вмешаться?

– Было слишком поздно. И потом, что я мог сделать? Стрелять в толпу? В скопище людей, годами живших в страхе и так жаждущих мести, что с них стало превратить живого человека в воздушный шар?

Джерри пристально посмотрел в окно, как будто опасался, что в этот самый момент еще кого-то линчуют на улице Камбон.

– Расскажите мне о Фицджеральде, – попросил Сэлинджер. – Его смерть меня глубоко потрясла.

– Бедный Фрэнсис. Успех его убил. Слаб он был, не воевал, как мы. Пишите что хотите, но берегите себя, мой мальчик. Будьте во всеоружии, потому что круто вам придется, когда вы опубликуете первый роман, не важно, примут его или не примут. Бедный старина Фицджеральд, к нему успех пришел сразу. Это худший из наркотиков. Его хочется еще и еще, и все мало. А когда успех уходит... Нет, не Зельда подкосила Скотта, а провал «Гэтсби».

– Он был хороший парень, да?

– Изумительный. Представляете, он читал французов. Вы читаете французскую классику? Бальзака, Флобера, Мюссе? Это верх изысканности. Знаете, что меня убивает? Вот увидите, после войны с этим будет покончено. Никто больше не станет читать французов. Вот чего добились Америка. Теперь во всем мире будут читать нас с вами, и мы сами будем читать только себя. Это началось еще после Первой войны. До

пятнадцатого года на Бродвее играли одних зарубежных авторов. А потом переключились на наших и стали играть только Драйзера да О'Нила. Вот что убьют эти войны: наше любопытство.

3 сентября 1945 года Хемингуэй упомянет в письме критику Малкольму Каули о «молокососе из 4-й дивизии по имени Джерри Сэлинджер, который плюет на войну и хочет только писать». Он тронут тем, что семья Сэлинджера продолжает посылать ему «Ньюйоркер».

До конца войны эти двое продолжали переписываться. Хемингуэй: «Во-первых, у вас исключительный слух, и вы пишете о любви нежно, но не размазывая слюни. Какая радость читать ваши истории, вы писатель от Бога!»

– Перед тем как уйти на войну, – сказал Джерри, – я встречался с Уной О'Нил.

– С дочерью драматурга?

– Да. С ней самой.

Джерри невольно зарделся от гордости.

– Красивая девушка. Я видел ее фото. Кажется, она любительница вечеринок, не правда ли?

– Именно это не нравится ее отцу, и мне тоже.

– Мм... Мне повезло: у меня трое сыновей, хотел бы я знать, каково это – иметь дочь. Есть от чего спятить. Уверен, мне бы не хотелось, чтобы моя дочь крутила задом в кабаре перед фотоаппаратами...

– Она поступила еще хуже: в сорок втором, когда я ушел в армию, Уна бросила меня и вышла замуж за Чарли Чаплина.

– За Чарли Чаплина? Ах да, я же столько об этом читал, совсем из головы вон! He's bolchevik, isn't he? Пока он не говорил, люди обожали его. Стоило ему сунуться в политику, все на него ополчилось.

– Это должно послужить нам уроком. Художнику всегда лучше помалкивать.

– Damn right, [\[109\]](#) Джерри. Разуйте глаза. Уна выбрала надежность. И вы правильно сделаете, если последуете ее примеру. Забудьте о трудной любви, особенно если собираетесь писать книги. Это и мне следовало бы сделать в вашем возрасте.

– Вы читали Ламартина?

– Нет.

Сэлинджер пересказал ему «Грациеллу».

– Этот короткий роман о любви я нашел на одной нормандской ферме. В восемнадцать лет Ламартин влюбился в девушку, дочь итальянских рыбаков, шестнадцатилетнюю брюнетку, чьи «большие овальные глаза

были неопишемого цвета между глубокой чернотой и морской синевой». К несчастью, его родители вынудили юношу бежать из Неаполя, чтобы уберечь сына от возможного мезальянса.

– Я полагаю, со временем он увиделся с нею вновь?

– Нет, это лишь воспоминание, которое он так и не смог выбросить из головы. Двенадцать лет спустя он вернулся в Неаполь. Искал Грациеллу повсюду. И наконец нашел ее могилу. Она умерла от горя через несколько дней после его отъезда. Ламартин написал эту книгу в шестьдесят лет...

Пролетел тихий ангел, чье благозвучное неаполитанское имя нетрудно угадать.

– У каждого писателя должно однажды разбиться сердце, – вновь заговорил Хемингуэй, – и чем раньше, тем лучше, иначе это будет шарлатанство. Первая любовь должна быть самой что ни на есть несчастной, и только она служит лакмусовой бумажкой писателю. А после нужна добрая жена, которая не даст ему слететь с катушек.

– Ламартин не любил Грациеллу, иначе бы он ее не покинул...

– Или, может быть, рассчитывал освободиться?

– А когда понял свою ошибку, было поздно?

– Не переживайте, Джерри. Это всего лишь роман, старый, забытый французский роман...

Эрнест рассмеялся своим громовым смехом и налил еще вина. Вновь обретенная свобода превратила «Риц» в парк аттракционов.

– Знаете, – сказал Джерри, – последние два месяца я много думал о ваших книгах. Вы сказали о войне все. Я обожаю «Прощай, оружие», потому что вам удалось написать роман о любви и одновременно роман о войне. Совместить то и другое – это надо суметь.

– Первым до этого додумался Гомер.

– И все же, не обессудьте, одну вещь вы описать не решились.

– Какую же?

– Красоту войны. Оранжевые и лиловые облака от взрывов, вид развороченной земли, обугленных руин, все это великолепие разора, сметенные с лица земли деревни, красно-желтое пламя пожаров и мощные сполохи вдали, точно грандиозный фейерверк где-то на горизонте, и лунные кратеры... я знаю, нельзя так говорить, и все же война чудо как прекрасна. Разве нет?

– Я описывал артиллерийский огонь, похожий на грозовые молнии, горы пурпурного дыма над Италией, но ты прав, мне трудно увидеть в войне эстетику. Хотя я-то должен бы находить ее красивой. Я не был обязан снова идти воевать... Видит бог, как я ненавижу войну, однако же я опять

здесь. Все время что-то происходит, живешь полной жизнью, солдату некогда скучать, в бою он страдает, мерзнет, умирает. Ни минуты передышки. А в часы отдыха он пьет, спит, вспоминает и плачет.

– Не знаю, как я смогу вернуться к нормальной жизни.

– Вот это труднее всего. Не ужас, дорогой сердцу Курца,^[110] мешает жить, а повседневность, без угроз, без риска. Это боль выжившего, и никто не может ее с тобой разделить. Слышал про святую Терезу Авильскую?

– Нет.

– Она прожила всю жизнь в испанском монастыре, в шестнадцатом веке, когда была открыта Америка. Она написала: «Весь мир – в огне пожара». Придется тебе засесть за роман, мой мальчик. Заняться серьезным делом.

– Новеллы – это несерьезно?

– Это очень серьезно, это даже труднее – а твои очень хороши, – но тут как в боксе: людей интересуется только категория тяжеловесов...

«Весь мир – в огне пожара». Джерри всю дорогу повторял про себя эту фразу, открывая Европу в разъедавшем глаза дыму. Выйдя из «Рица», он долго смотрел на пепельницу из «Сторка», полную пепла от сигары Хемингуэя, и ненавидел грязного серого аиста, по-прежнему заносчивого, несмотря на все, что пришлось пройти. И это было еще только начало.

* * *

Улицы Беверли-Хиллз невыносимо чисты. Автомобили плавно скользят по асфальту, не шурша шинами. Деревья приятно пахнут, собаки не лают, и кажется, что все жители этих обсаженных акациями улиц улыбаются, просто не могут иначе. Улыбка выражает их благодарность за то, что они здесь, в то время как их сограждан прошивают пулями на Гуадалканале^[111] или жгут из огнеметов в болотах Котантена. В некоторых газетах пишут о неминуемом захвате Калифорнии, но в это верят не больше, чем в пресловутое землетрясение Big One, которое когда-нибудь утопит Лос-Анджелес в Тихом океане. Война где-то далеко, в кинотеатрах показывают новости, и о трупах американцев на экране с сочувствием рассуждают между гимлетами в «Чиро»^[112] (гимлет: половина джина, половина сока лайма, может считаться предком кайпириньи).

Уна обнаруживает в себе неожиданную способность любить кого-то, кроме себя. Для этого достаточно было встретить кого-то, кто по-

настоящему в ней нуждается. Наконец-то она чувствует себя полезной. Она знает, что может помочь Чарли Чаплину сосредоточиться на работе, ее воспитали как будущую хозяйку: вести дом, отслеживать в блокнотике светские события – все это ей не внове. Она занимается садом, кухней, не видя в этом унижительной повинности, ведь достаточно отдавать распоряжения слугам. И потом, она по-прежнему восхищается им, своим маленьким, стареньким гением, синеглазым и седовласым. Он от нее без ума, диву дается, что такая чудесная девушка не оказалась ни стервой, ни шлюхой: это так ново в печальной жизни основателя Голливуда. Раньше он жертвовал личной жизнью ради работы. Мужчины, думающие лишь о своем деле, женятся на дурах или злюках. Они – легкая добыча, им некогда думать о счастье.

А Уне чужды какие-либо расчеты.

Поначалу, до свадьбы, им приходилось прятаться от папарацци из-за возраста Уны. Они не могли ни пойти в ресторан, ни побывать на премьере. Чаще всего она приезжала к нему и не возвращалась ночевать к матери. Она относилась к этому легко, а он был сама предупредительность, робел из-за разницы в возрасте и без конца повторял, что эта история смешна, пафосна и он ее не заслуживает. Она отвечала в точности теми же словами. Они пили шампанское и прекращали извиняться друг перед другом за то, что влюблены, когда вконец пьянели. Ни он, ни она не планировали этой встречи. Никто не был виноват, это вышло случайно, и каждый вечер они часами пересказывали друг другу свою первую встречу вплоть до мельчайших подробностей. Вспоминали и неуклюжесть миссис Уоллис, и неудачное начало их разговора, и как стыдно было ему за свои льстивые речи гадкого педофила, и как смешна была она со своими наивными вопросами о «Великом диктаторе»... Они обожали воспроизводить свой первый вечер в реальном времени, продлевали рассказ о нем, дотягивая до действительности, чтобы переживать его вновь и вновь, вечно. Их тайная свадьба состоялась в Карпинтерии (близ Санта-Барбары), едва Уне исполнилось восемнадцать.

Вот какое стечение обстоятельств понадобилось для того, чтобы родилась такая женщина, как Джеральдина Чаплин... По порядку: эмиграция ирландцев в Америку, путь Чарли в Голливуд, встреча Юджина с Агнес, годы расцвета немого кино, заточение великого драматурга в своем внутреннем театре, неслышная трагедия развода, когда развода не существовало, три неудачных брака Чарли, пока он создавал народное кино, крах 1929 года, отчаянное одиночество Уны на Манхэттене, Пёрл-Харбор, уход Джерри на войну... Столько совпадений и случайностей: был

один шанс на миллиард, что им удастся произвести на свет Джеральдину Чаплин, родившуюся в Санта-Монике 31 июля 1944 года, чтобы она смогла двадцать лет спустя сыграть в «Докторе Живаго», а ее дочь, Уна Кастилья Чаплин, беременной была заколота в «Игре престолов».

* * *

Четвертая дивизия вошла в Хюртгенский лес ровно через пять месяцев после высадки на Ута-бич. Она пробудет там до февраля сорок пятого. По сравнению с этим противостоянием битва в Нормандии была буколической прогулкой. Расположенный на границе Бельгии и Германии, к юго-востоку от Ахена, Хюртгенский лес был прозван солдатами «мясной фабрикой» («the meat factory»). Новый ледяной Верден: в этом студеном аду было хуже, чем в джунглях Вьетнама. Каждый метр топкий, опасный, смертельный. Колючая проволока, мины, пулеметный огонь прямо из-под земли, взрывные ловушки, крутые склоны, густой непроходимый лес, нескончаемый дождь и снег, бомбежки фосфором и тысячи сгоревших заживо, не считая «friendly fire»^[113] (сотни убитых случайно или по ошибке). Забытая бойня: немцы сражались как львы, как в семнадцатом. У них не было выбора: в случае отступления юных солдат (некоторым по двенадцать-тринадцать лет) ждал расстрел, более того, нацисты убедили бедняг, что гестапо уничтожит заодно и их семьи. Стрельба в лесу опаснее, чем где бы то ни было: от деревьев рикошетом, точно смертоносные стрелы, отлетают щепки, не говоря уж о падающих стволах. Все раненые быстро умирали от холода: на рассвете находили синие, уже окоченевшие трупы. Восемь дней и ночей Джерри не смыкал глаз: дрожа всем телом, он прятался в полных воды ямах, ноги его превратились в ледышки. Всю жизнь потом он не переносил холода. Ледяной ветер не давал о себе забыть, невозможно было думать ни о чем другом. Немецкий миномет хоронил джи-ай заживо, но они испытывали почти облегчение, лежа под землей в импровизированном окопе и согреваясь теплом собственной крови. Они не мылись, одни и те же носки и трусы носили месяцами, не говоря уже о перепачканной и окровавленной форме, такой грязной, что поставишь – стоит. Когда все намокло и смерзлось от холода, о гигиене можно забыть. Грязь становится корой, вонь – броней. Американские сухопутные войска рассчитывали на скорую победу, поэтому не было предусмотрено ничего теплого, чтобы пехотинцы могли перезимовать (неутепленные башмаки, никогда не просыхающие шинели: солдаты

дрались за кроличьи фуфайки с немецких трупов). Тысячи обморожений, тысячи потерянных в лесу пальцев рук и ног: будто какой-то Мальчик-с-пальчик разбрасывает фаланги, чтобы отыскать дорогу домой. В американской медсанчасти ощущалась нехватка всего: не было ни бинтов, ни морфина. Каждый немецкий бункер, окруженный минами и колючей проволокой, забирал сотни жизней ради нескольких метров. В Хюртгенском лесу было множество самострелов, американцы стреляли себе в руку, чтобы их эвакуировали в тыл. Джерри видел, как один солдат просил другого сломать ему ногу между прикладом и деревом. Залегшие в снегу пехотинцы получали пули в голову, в плечи, в ноги. Раненные в плечо или в ляжку ликовали: теперь они вернутся домой. Даже подорваться на mine и лишиться ноги – и то было хорошей новостью. Один дезертир был расстрелян (Эдди Словик, тридцать первого января сорок пятого года), а скольким удалось бежать? По данным историка Чарльза Гласа, во время Второй мировой войны дезертировали пятьдесят тысяч американских солдат – эквивалент десяти дивизий; часть из них судил военный трибунал, но большинство до сих пор в бегах... или давно покойники.

Немецкий генерал Фрайхерр фон Герсдорф заявил, что это сражение было хуже всех, что он пережил на русском фронте. Это был прорыв линии Зигфрида, бой, которого французы и англичане не смогли дать в сороковом. «Странная война» заключалась в том, что во избежание этой мясорубки они ждали, чтобы их обошли. Поражение сорокового года потребовало четырехлетней работы: мы поручили принести эту жертву молодым американцам, которые пересекли океан, чтобы быть убитыми в черном лесу Германии. Тысяча погибших в день: та же статистика, что и под Верденом. Тридцать три тысячи убитых из ста двадцати тысяч солдат. Хюртгенская битва была стратегической ошибкой американского командования, сегодня это признано историками: все эти жизни можно было бы сохранить, если бы союзники обошли немецкую армию с юга, избежав убийственного леса. Ответственны за эту бессмысленную бойню генералы Омар Бредли и Джеймс Ходж. Они полагали, что немцев надо выбить из леса, чтобы форсировать Рейн. Решение взять лес было «не только преступным, но и глупым», напишет историк Стивен Е. Амброуз. Вернер Климан, один из боевых товарищей Джерри, тоже считает, что это была «самоубийственная миссия». А во время этой забытой бойни Париж праздновал Освобождение... (Вплоть до шестидесятых годов французы говорили о «войне тридцать девятого – сорок четвертого», для них дело было кончено.) Будь у американцев атомная бомба зимой сорок четвертого, они сбросили бы ее на Берлин без малейших колебаний.

Джерри повезло в Нормандии, потом в Шербуре, потом в Париже, потом в Германии. Везение на таком уровне – уже не просто везение. Если он был еще жив, значит кто-то где-то так решил. Поначалу это было просто суеверие, теперь же в нем поселилась вера. Он должен был жить, чтобы рассказать о том, что пережил. Ему было еще невдомек, что никогда он не сможет этого сделать. Он не станет свидетельствовать, он смолчит. Война в творчестве Сэлинджера – колоссальный эллипсис. Но он знал, что здесь, в Хюртгенском лесу, на нем повис этот долг. Вокруг него раненые солдаты, обезумев от боли, повторяли две противоречивые фразы:

– Не убивайте нас, не надо, не убивайте...

– Убейте меня, убейте...

Джерри больше не покинет лес. Позже он выберет для жизни другой лес, Корнишский. Когда в декабре сорок четвертого он встретился с Хемингуэем в Цвайфале, это уже не тот ретивый и амбициозный юнец, что был в Париже в августе. На опушке леса, в кирпичном домике, на стене которого выведены краской три буквы: «P. R. O.» (Public Relation Office), они в молчании пьют шампанское из алюминиевого котелка.

– В «Рице» было лучше, – сказал Джерри.

– Hell yes, – ответил Эрнест.

– Вы здесь писали?

– Статейку, кое-какие диалоги. Больше ничего. Это ведь мой метод, верно? Чем меньше я пишу, тем лучше себя чувствую.

Он сильно кашлял. Хемингуэй еще не знал, что болен пневмонией. Шампанское было замороженное; они согревали его в ладонях, точно грог.

– Действие и реплики как в кино.

– В этом ваш секрет. А хоть разок время от времени пейзаж позволяется?

– Только по-быстрому.

Вдали слышались взрывы, словно где-то бушевала гроза. Они были уже не так самонадеянны, как летом. Всю жизнь потом любая гроза напоминала им о минометных снарядах. Снег за окнами походил на сыплющиеся с неба кукурузные хлопья.

– Ничего, если я попрошу вас пустить мне в руку пулю из вашего кольта? – спросил Джерри.

– Сам себе не поможешь – никто тебе не поможет, – ответил Эрнест и протянул ему свой пистолет, держа его стволом к себе. Анекдот о том, что Хемингуэй якобы выхватил нацистский люгер, чтобы застрелить живого цыпленка, с воплем «Господи Иисусе, какой же вы талант!», никакими свидетельствами не подтверждается.

Германия капитулирует пять месяцев спустя. Хемингуэй сведет счеты с жизнью через шестнадцать лет.

– Оставьте его, – сказал Эрнест солдатам, которые направили оружие на Джерри, ловя его на слове. – Это же еврей: он забавник – не вам чета, хоть и смеется куда меньше.

* * *

Джерри не умеет целиться, винтовка в его руках ходит ходуном, и он систематически промахивается по мишени с двух метров. В парке Уна стрижет кусты белых роз красным секатором. Джерри роет траншею в грязи под ледяным дождем. Уна, в белой юбочке, проигрывает на корте в саду партию в теннис со счетом шесть-один. Джерри, скрючившись, устраивается на валуне, чтобы подремать хоть часок не в сырости. Уна снова чувствует толчок ножкой в своем округлившемся животике. Джерри с трудом перезаряжает винтовку отмороженными пальцами. Уна заказывает с доставкой на дом клубнику, малину и ванильное мороженое в придачу. Джерри ощупью проверяет, на месте ли ампула с морфином и шприц в кармане гимнастерки. Уна играет в бадминтон на пляже. Джерри слушает, как взрывается бомба за бомбой, бомба за бомбой, и всякий раз думает, что следующая будет его. Уна слышит по калифорнийскому радио, что война скоро закончится. Джерри пишет «Над пропастью во ржи», слушая «Lucky Strike Program» (Фрэнк Синатра, Гленн Миллер). Чарли заказывает почки в «Чиро». Иногда Джерри завидует умирающим: мертвым быть лучше, чем живым. Уна и Чарли ужинают в «Трокадеро», в «Паризьен», в «Садах Аллаха». Джерри делит бутылку кальвадоса с тремя товарищами – двух убьют в бою в тот же день. Уна дышит эвкалиптами. Джерри получает посылку от матери, в ней шерстяные носки, которые она сама связала. «С этих пор я был единственным солдатом с сухими ногами из всех, кого знал».

* * *

27 апреля 1945 года: освобождение концентрационного лагеря Кауферинг, близ Дахау. Поначалу Джерри чудится, будто он видит груды белых бревен. Но у срубленных деревьев не ветви, а ноги, руки и серые лица. Подойдя ближе, он понимает, что это человеческие останки. Четыре с

половиной тысячи тел свалены на земле у бараков, в ямах, повсюду вокруг. Вдруг под четырьмя слоями трупов он различает один, который моргает. Другие издают сильные звуки, чтобы их отыскиали под десятками мертвецов. Груда еще шевелится.

Как офицер контрразведки, Джерри одним из первых вошел в «Krankenlager». Кауферинг был вспомогательным лагерем при Дахау, отведенным для больных; на самом же деле – лагерем смерти, поскольку больных здесь не лечили, не кормили и держали в неотопливаемых бараках. Накануне прихода американцев эсэсовцы эвакуировали три тысячи узников, а всех тех, что были слишком слабы и не могли идти, расстреляли из пулемета, забили железными прутьями и топорами. Барак с больными заперли на ключ и подожгли. Первые джи-ай, открыв дверь, увидели сотни обугленных трупов. Подойдя к ограде из колючей проволоки, Джерри видит горстку выживших, кожа да кости, взрослые весят килограммов тридцать, не больше, ноги как спички, глаза вылезают из орбит. Их лица так худы, что скулы выступают, точно рога. Они опускают голову в знак покорности, не смея посмотреть освободителям в глаза. По свидетельствам, заснятым в документальном фильме «Сэлинджер» Шейна Салерно, первые солдаты, вошедшие в лагерь, падали наземь и рыдали. Других рвало, а потом они протягивали свои винтовки выжившим, чтобы те расстреляли немногих взятых в плен охранников (некоторые эсэсовцы переоделись заключенными, но их нетрудно было распознать по здоровому виду). Другие солдаты пятились от страха, когда выжившие хотели их обнять или просто прикоснуться к ним. Живые скелеты пытались аплодировать, но их бесплотные руки, стучаясь одна о другую, не производили ни малейшего звука.

«Запах горелой человеческой плоти никогда не выветрится у меня из ноздрей, сколько бы я ни прожил», – скажет Джерри своей дочери Маргарет. Запах сожженных трупов едкий, сладковатый, тошнотворный, он забивает нос, проникает под кожу, от него не отмыться. Джерри навсегда пропитается зловонием человеческого мяса, поджаренной крови, душком жаркого из детей. Скажем без околичностей: от лагеря смерти на километры разит дерьмом, кровью, гнилью, мочой, блевотиной, горелой человеческой плотью. Жители соседних деревень, утверждавшие, что ничего не знали, вероятно, были жертвами редкого случая массовой потери обоняния.

Кауферинг, 30 апреля 1945 года

Дорогая Уна,

всю жизнь мне будет стыдно за то, что я не вошел в лагерь раньше. Я знаю, что это не моя вина, но никогда не смогу себе простить. Я имел возможность убедиться во время допросов пленных, что между нами и немцами нет никакой разницы. Стечение обстоятельств привело к столь невообразимому зрелищу, и я – одна из причин, пусть даже отдаленных, такого позора. Всякий, кто жил в то время, был пособником, ближним или дальним, вольным или невольным, исторических предпосылок, ввергших человечество в ад. Я пишу это, чтобы искупить свою вину, но напрасно. Заключенные просили есть, мы отдали им все наши пайки, и несколько десятков выживших завтра умерли. Мы могли бы бомбить железнодорожные пути, сторожевые вышки и печи. Почему мы шли сюда целых три года? Из телеграммы от Красной армии мы только что узнали о самоубийстве Гитлера в бункере в Берлине. Я виновен в преступлении и не хочу оправдываться, мы все должны заплатить за этот изъян рода человеческого, рано или поздно нам придется держать ответ за то, что здесь произошло.

Шутки ради я отрастил такие же усики, как у Гитлера и Чаплина, но вчера сбрил их.

Я счастлив, зная, что вся эта заваруха тебя не коснется.

Джером

* * *

В 2014 году по радио весь день напролет передают песни о героях. «A Real Hero» группы «Колледж» (саундтрек к фильму «Драйв»), «Hero» Чеда Крюгера (музыка к «Человеку-пауку»), «The World Needs a Hero» группы «Мегадет», «Hero» Регины Спектор, «Save the Hero» Бейонсе, «Hero» Мэрайи Кэри, «Hero» Энрике Иглесиаса, не говоря уж о классике: «Heroes» Боуи, «Heroes and Villains» «Бич-Бойз», «Я не герой» Балавуана... Подростки фанатеют от американских блокбастеров производства «Марвел» или «DC Comics»: «Супермен», «Бэтмен», «Человек-паук», «Железный человек», «Хранители», «Мстители», «Люди Х», «Росомаха»,

«Халк» и так далее. Какая же разница между этой жаждой силы и ницшеанским преклонением перед сверхчеловеком? Между стальными ливнями и «Человеком из стали»? Между «Валькириями» Рихарда Вагнера и «Тором»? А когда американская индустрия не плодит этих сверхчеловеков, она тратит сотни миллионов долларов, чтобы показать всевозможные варианты конца света. Апокалипсис – ее вторая любимая тема.

В той или иной стране, в ту или иную эпоху наступает такое время, когда люди как будто ждут судьбоносного и трагического события, которое разрешит все проблемы. Такие периоды обычно называют предвоенными.

Мир готов к следующей войне. Новый мировой конфликт спишет долги, подстегнет экономический рост, решит вопрос перенаселенности... Избалованные и беспамятные дети богатых стран подсознательно надеются, что новый катаклизм освободит место выжившим. Они хотят оставить след. Не признаваясь самим себе, мечтают, что История еще не окончена. Ищут новой утопии, новых расколов. Жаждут нового врага для кровавой бойни. Они хотят быть травмированными не только очередной серией «Пилы» на YouTube. Молодежь 2014 года скорбит об отсутствии трагического выбора. Скучает по разрушениям. Предыдущие поколения оставили ей в наследство колоссальные долги, массовую безработицу и загрязненную планету. Экзистенциальная тоска, чувство пустоты, глобальная разочарованность подпитывают эту страшную жажду, именуемую нигилизмом. Желание служить чему-то, сражаться за идеал, выбрать свой лагерь, рисковать жизнью, чтобы стать героем. Неудивительно, что иные становятся террористами: что такое терроризм, как не единственный шанс для антигероев устроить войну в мирное время? Нынешний период затишья на Западе самый долгий за всю его историю, и очень может быть, что он подходит к концу.

Я боюсь героев; однако же я пишу книгу об одном из них.

* * *

Шел сорок пятый год, а война все никак не могла закончиться. Калифорнию охватила паранойя. Да, на сей раз наверняка: японцы будут бомбить Лос-Анджелес. У них огромные дирижабли, подводные лодки, спрятанные в заливе Сан-Франциско. Один друг, работавший в контрразведке, говорил о неминуемой атаке на Голливуд: надо срочно копать подземные убежища в парке, Беверли-Хиллз скоро ждет блиц

почище Лондонского. Виллы некоторых миллиардеров в Малибу были защищены зенитными пушками. Уна уже слышать не могла эту нескончаемую пропаганду. «Япошки, вон!» – было написано на плакатах, и всех американцев японского происхождения выслали в лагеря в пустыне, в том числе и дворецкого Чаплина Фрэнка Йонамори. А потом настало шестое августа, день бомбардировки Хиросимы. Услышав новость, Уна поперхнулась чаем, который пила в саду. Три дня спустя был, в свою очередь, стерт с лица земли Нагасаки. Едва избежал атомной бомбы и Киото, да и то лишь потому, что некий американский высокий чин проводил там отпуск. Калифорнийцы танцевали на улицах, празднуя взрыв секретного оружия, уничтожившего японцев. Это лето унесло двести тысяч жизней гражданских лиц: правительство подарило американцам патриотический фейерверк в форме ядерного гриба. Крупные заголовки в газетах воспевали бойню. До капитуляции Японии (второго сентября) Чарли и Уна не выходили из дому. Они не разделяли восторга соседей. Весь август Уну тошнило. Она опять была беременна. С лета сорок пятого года пропасть между Чаплином и Голливудом все углублялась. Кинематографическая среда простила ему пьянство и аресты за появление в непотребном виде в общественных местах на Голливудском бульваре, скачки наперегонки с Дугласом Фэрбенксом перед рестораном «Мюссо и Фрэнк» (пришедший последним платил за обед), его любовные и сексуальные похождения. Зато она никогда ему не простила ни поддержки СССР во время войны, ни нежелания ликовать по поводу уничтожения Хиросимы и Нагасаки, ни обособленности британского иммигранта, по-прежнему одевавшегося у Андерсона и Шеппарда (Сэвил-роу, Лондон) и не якшавшегося с американцами. На воскресных коктейлях Чарли Чаплин принимал у себя Жана Ренуара, Ивлину Во, Г. Дж. Уэллса, Альберта Эйнштейна, Томаса Манна и Бертольда Брехта. Кристофер Ишервуд впал в алкогольную кому и обмочился на диване в гостиной. Мертвецки пьяный Дилан Томас раскатывал в машине по парку и теннисному корту с Шелли Уинтерс: к счастью, разогнавшийся кабриолет остановила сетка. Чаплин смотрел на Голливуд свысока, за что и поплатился: в считанные годы самый популярный в Америке человек стал врагом общества номер один. Его обвиняли в отсутствии патриотизма, в поддержке коммунистов на митинге за второй фронт в Мэдисон-сквер-гарден двадцать второго июля сорок второго года (где он невольно рассмешил весь зал, начав свою речь с обращения «Товарищи!»), в отказе от американского гражданства. Даже финальная речь в «Великом диктаторе», эти шесть минут, когда Чаплин впервые заговорил с экрана, пропев идеалистическую хвалу гуманизму и

интернационализму, была воспринята как ультралевая! По сей день перед Китайским театром нет отпечатка руки основателя «Юнайтед артистс», создателя современного кино, творца голливудского мифа. Зато Хьюго Босс, шивший формы для СС, гитлерюгенда и вермахта, имеет сегодня «flagship store»^[114] на Родео-драйв. А «БМВ» и «мерседесы», двигатели которых, собранные депортированными евреями-рабами в концентрационных лагерях, были первыми ласточками блицкрига, разъезжают по улицам Беверли-Хиллз. Я спросил у швейцара самого знаменитого кинотеатра в мире, почему Чаплина нет на его тротуаре. Он мне ответил: «Because he was a commie!»^[115] Лучше было бы быть нацистом?

Х

Посттравматический синдром ветеранов

На протяжении всей войны я бросался в ямы. И вылезал из них, только когда бульдозеры строили на мне аэропорт.

Дж. Д. Сэлинджер, из письма Уиту Бернетту

Джерри не знает, сколько недель он лежит на этой больничной койке. Он помнит только, как пытался покончить с собой, наглотившись таблеток, но ничего не вышло. А теперь он пьет бульон из немецкой курочки, его обхаживают сестрички из Арканзаса, а окна забраны решетками.

От тишины ему легче. Целыми днями он повторяет одно слово: Fubar. Я Fubar. Аббревиатура от «Fucked Up Beyond All Recognition».[\[116\]](#)

*Психиатрическое отделение
Нюрнбергского госпиталя, июль 1945 года.*

Дорогая Уна,
голубая пилюля 88 усыпляет на двадцать четыре часа; мне дали три.

Война создает престранное положение. Одна страна неожиданно нападает на другую. Она жжет ее из огнеметов, грабит ее богатства и располагается в ее домах. Другая страна приходит на помощь. Вот тут-то и возникает престранное положение, о котором я говорю: Джим стреляет в Ганса, Ганс кромсает Боба, Боб выпускает кишки Курту. Эти четверо молодых людей между собой незнакомы. Быть может, если бы их представили друг другу в какой-нибудь гостинной, они бы подружились и выпили вместе пива. Но нет, это невозможно: они поотрубили друг другу руки и им никогда не оправиться. Даже если заживут их телесные раны, они не смогут больше думать ни о чем, кроме этого дня. Не говоря уж о том, какие страшные последствия падут на детей и внуков Джима, Ганса, Боба и Курта.

Самым ужасным был шум. Пробираясь среди своих

товарищей, которые падали один за другим и подбирали свои оторванные ноги, я, как мантру, повторял про себя только одно: «Заткнись, заткнись, заткнись...» Цель войны – заставить замолчать пушки. Я не многих убил, но помню одного солдата, в которого целился долго, внимательно, спокойно, а потом нажал на гашетку своей винтовки М1. Точно в замедленной съемке в кино, я видел, как его голова раскололась надвое, когда моя пуля вошла в правую щеку. Было чудовищно отрадно знать, что мертв он, а не я. Цель войны – не заключить мир, а уйти с миром. Потушить, рассеять, развеять дым, который щиплет мне глаза три долгих года. «Smoke Gets in Your Eyes», помнишь? Лечь в горячую ванну и все смыть, убавить громкость. Я принимаю здесь душ по десять раз на дню. Обсохну – и снова под струи, но никак не могу отмыться. И всегда это непрерывное жужжание мух, нескончаемый звуковой фон, от которого сходишь с ума. Уберите звук, уберите картинку, ради бога. Если бы надо было запомнить только один звук войны, это был бы свист пуль, прошивающих людей насквозь, как острый нож взрезает арбуз. Так странно, дозы адреналина, впрыснутые в кровь в бою, ввергают нас то в истерику, то в полную прострацию. Я не знаю, как тебе объяснить: страх, как остановка сердца, может опрокинуть человека наземь и оставить неподвижным. Здесь кое-кто называет эту болезнь фугаситом. Аллергия на фугас! Как будто есть люди, которым нравится общество фугаса! Лично я фугасофилов никогда не встречал! Всё в сражении происходит не так, как предполагалось. Говорят, каждый четвертый солдат становится жертвой нейропсихологического расстройства – а я думаю, таковы все сто процентов, а больные на всю голову как раз те три четверти, что делают вид, будто они в порядке. Никому никогда не понять, что творится на театре военных действий. Смотри хоть до дыр штабные карты, слушай инструктаж генерала, учи военную тактику – все равно на поле боя полный бардак и каждый сам за себя. Главнокомандующий Паттон говорил, мол, секрет в том, чтобы «перемещаться и стрелять одновременно». Он забыл сказать, что еще и кричать полезно. В кино солдаты тихи и по-кошачьи грациозны. В жизни же мы ревели, как викинги.

Джерри

Он едва может дотащить по коридору до туалета. Он не в состоянии больше читать: буквы складываются не в слова, а в какую-то тайнопись. До боли в глазах всматривается он в абзац, но мозг отказывается фиксировать что бы то ни было, кроме запаха жареного человеческого мяса. У него случаются «флешбэки»: стоит хлопнуть двери или засвистеть чайнику, и у Джерри в голове взрываются бомбы.

*Дорогой Папа,
пишу вам из Нюрнбергского госпиталя. Здесь чертовски не хватает Кэтрин Баркли.*^[117]

Все хорошо, вот только я в перманентном состоянии зависимости и сказал себе, что мне пошло бы на пользу поговорить с кем-то душевно здоровым. Тут мне задавали вопросы о моей сексуальной жизни (она в полном порядке – спасибо!) и о детстве (обыкновенное)... Я всегда любил армию... В моем взводе уже арестовали почти всех, кого следовало. Дошло до того, что сажают десятилетних детей, если у них подозрительный вид. Надо бы послать несколько старых добрых формуляров по начальству, чтобы хорошенько раздуть рапорт.

...Я написал еще пару моих кровосмесительных новелл, несколько стихотворений и кусочек пьесы. Если когда-нибудь я уволюсь из армии, то, может быть, допишу эту пьесу и приглашу Маргарет О'Брайен^[118] сыграть ее со мной. Со стрижкой ежиком и макияжем от «Макс Фактор» я мог бы сам исполнить роль Холдена Колфилда. Однажды я с изрядным чувством сыграл Рэли в «Конце путешествия».^[119]

Как продвигается ваш роман? Надеюсь, вы работаете не покладая рук. Не продавайте его в кино. Вы и так богаты. Как президент ваших многочисленных фан-клубов, я знаю, что выступаю от имени всех членов, когда говорю «нет» Гэри Куперу.

Я дал бы на отсечение руку, чтобы свалить из армии, но не по психиатрическому заключению в духе «этот-человек-не-создан-для-военной-жизни». У меня есть замысел трогательного романа, но я не хочу, чтобы в пятидесятом году сказали, что у его автора не все дома. Я идиот, но об этом знать никому не

надо.

Я так хотел бы, чтобы вы мне ответили, хоть словечко, если сможете. Выйдя из всей этой заварухи, вы теперь видите немного яснее, правда? Я имею в виду вашу работу. Наши встречи были для меня единственными проблесками надежды в этом шабаше.

(Подлинное письмо Дж. Д. Сэлинджера Эрнесту Хемингуэю, которое цитирует Брэдли Р. Макдаффи в «Хемингуэй ревью» весной 2011 года.)

Еще полгода после окончания войны Джерри не мог уснуть без барбитуратов и лежал в постели в позе эмбриона, скрючившись и обхватив согнутые колени руками. Иногда он плакал до утра и не мог остановиться. После капитуляции Германии ему случалось задаваться вопросом, сошел ли он с ума окончательно или временно. Все дни были одинаковы, и ночи длились дни напролет. Время ничего не лечило – только тянулись одинаковые часы. Он попытался положить конец этим дням и ночам, перемешав все таблетки на этаже. Он ничего не ел и был убежден, что никогда больше не сможет улыбнуться. Он походил теперь на те бесплотные тела, которые поднимал с земли в Дахау: скелет, обтянутый сморщенной кожей, запавшие глаза, ни тела, ни души – ничего не осталось, сломанная марионетка, монстр, зомби. Мода на фильмы о живых мертвецах пошла после войны. Нетрудно догадаться, где американские режиссеры черпали вдохновение. Нацисты сотворили монстров, оправдывавших их расизм: эти существа невозможно было видеть, от них пропадал сон. Зомби спасали зомби, созданных зомби. И нечего тут больше было делать человечеству. Устаревшее, опорощенное понятие, которое скоро, в следующем веке, заменят сверхчеловечеством. Денацификация была задачей неразрешимой: нацисты сожгли все следы (аутодафе было их любимым видом спорта: они распространили его и на свои собственные дела). Как отличить военных преступников от тех, что были лишь немецкими жертвами Адольфа Гитлера? Командиры изображали себя шестерками, объясняя, что настоящие командиры покончили с собой, а они, мол, делали все возможное, чтобы помочь евреям. Убийцы надевали маску невинности. Не расстреливать же, в самом деле, всю страну... Немцы были нужны, чтобы возродить из руин Германию. World War One породила World War Two. Ни в коем случае нельзя было вновь унижать немцев, чтобы World War Two не вовлекла мир в World War Three.

Еврей Джерри Сэлинджер видел то, чего никто не должен видеть. Он сражался за спасение евреев – измученных голодом и пытками, отравленных газами, обмороженных, сожженных. Так оно и было, приходилось признать: он воевал за эти ползающие скелеты. Он и вообразить не мог, что мир никому не принесет избавления. Слишком далеко зашла бойня, и слишком поздно подросла американская армия. Кому нужен теперь этот мир? Ему часто снилось, как его корит женщина-скелет: «Спасибо, о, спасибо, но почему вы так долго не шли? Вы высадились в июне, освободили Париж в августе, а мы умирали здесь каждый день, в ноябре я потеряла сестру, а вас все не было, в феврале казнили моего отца, и никто не бомбил ни железнодорожные пути, ни лагерь, что же вы делали, где же вы были? Они убили всех детей, каждый день они их убивали, они заперли тысячу человек в сарае и подожгли, они ломали нам зубы и выкалывали глаза, каждый день, а вы все не шли, не шли, не шли!» В его сне она рыдала, билась в истерике, «О боже мой, я умираю с голоду, у вас найдется что-нибудь поесть?» И он, не зная, что ответить, протягивал ей свой паек. Никто их не предупредил, откуда им было знать, что этих бедняг нельзя кормить? Эти тягостные, недопустимые мысли крутились в голове Джерри, как позже будут крутиться буддийские и дзенские рефрены, которые помогут ему жить в добровольном заточении в Корнише. Никто не готов к такому варварскому зрелищу, особенно в двадцать пять лет. Он не хотел, чтобы его благодарили, хотел забыть, забыться, он весь дрожал, как листья на деревьях за окном его палаты. И все начиналось снова и снова. Химическая смерть давала ему лишь крошечную передышку. Когда военный врач спрашивал, как он себя чувствует, он неизменно повторял одно и то же: «Весь мир – в огне пожара».

Однажды ему удалось наконец выйти в сад. Весь вечер он просидел под деревом. Мухи садились на его закрытые глаза. Он постоянно видел то, чего видеть не хотел. Он слышал скрежет танковых гусениц, рев пикирующих самолетов, щелчки мин-ловушек под ногами и свист пуль, разрывающих нутро. Он завидовал мухам. Ему хотелось быть мухой, которая, присев на его ладонь, чистилась, потирая лапки, взлетала и садилась на лицо. Он жалел, что убил много мух, когда был маленьким. Что такое посттравматический синдром ветерана? Это когда большой дурень просит прощения у мухи.

Психическая травма пехотинца Джерри Сэлинджера не заживет никогда, эта боль не пройдет. «Post-traumatic stress disorder»^[120] не лечится. Самоубийство Симора Гласса в рассказе «Хорошо ловится рыбка-бананка»

– это, несомненно, самоубийство самого Сэлинджера. С мая сорок пятого Джерри, который отныне называл себя Дж. Д., стал живым мертвецом. Точнее, как часто говорят о себе солдаты, страдающие синдромом ветерана, он не мертв, но больше не принадлежит к миру живых. Тут и начинается его заточение. Его изоляция – не выбор денди, но побочное действие его освободительной миссии во Франции и в Германии: в сороковом Сэлинджер был романтиком, в сорок третьем – шпионом, в сорок пятом страдал раздвоением личности, а потом до самой смерти оставался агорафобом и геронтофобом.

В не изданной во Франции новелле «Мягкосердечный сержант», опубликованной в апреле сорок четвертого, за год до его попытки самоубийства, Сэлинджер пеняет кино за то, что солдаты на экране умирают красиво: *«Там красивые парни умирают очень аккуратно, и раны совсем их не портят, а прежде, чем загнуться, они успевают пролепетать последний привет какой-нибудь куколке, которая ждет их дома и с которой в начале фильма у них серьезные разногласия из-за того, какое платье она должна надеть на вечеринку в колледже. А еще бывает, парень все не умирает, пока не передаст кому надо секретные документы, захваченные у генерала, или не расскажет весь фильм с самого начала. А тем временем все остальные парни, которые с ним служат, только и делают, что смотрят, как красавчик отдаст концы. И все. Разве еще слышно, как другой парень, с трубой, теряет время, подавая сигналы. А потом вам показывают родной город убитого парня, и там у его гроба миллион людей, конечно же с мэром во главе, еще родственники и его куколка, бывает, и президент тоже, и все говорят речи, все в орденах, и все разодеты, как будто и не в трауре вовсе»*.^[121]

И правда, следует заменить красивые слова и крупный план нечленораздельными воплями на заднем плане, признать, что солдаты успевают только сказать: «Мамочка, помоги!» А что касается посмертных почестей, приходится довольствоваться типовым письмом, врученным лично офицером в форме с лицом могильщика. Посттравматический синдром ветерана вызван не равнодушием, не недостатком благодарности, а просто фактом, что жизнь продолжается. Вернувшись в Нью-Йорк в сорок шестом, Джерри был окончательно сломлен при виде толстого консьержа своего дома, каждый день выгуливавшего собаку, как и до войны. Вот так, люди продолжали жить своей жизнью, завтракать, делать покупки в лавочке на углу и прогуливать псов вокруг квартала. Разрыв – вот главная причина депрессии ветеранов. Жизнь шла своим чередом, за эту жизнь они сражались, но, увидев все того же невозмутимого старого

привратника, Джерри полночи просидел в гараже, закрыв лицо руками, не в силах сдержать судорожные рыдания.

В новелле «Мягкосердечный сержант» молодой офицер Берк ведет солдата в кино на фильм Чарли Чаплина. Сержант только что узнал, что его подружка вышла за другого. И вот надо же, он видит в зале свою бывшую, рыжеволосую красотку, с новоиспеченным мужем. Начинается фильм, но посреди сеанса сержант встает и уходит, сказав своему спутнику:

«Ты оставайся, парень. Я буду снаружи».

А после фильма между ними состоялся вот такой короткий разговор:

«— Что случилось, мистер Берк? Вам совсем не нравится Чарли Чаплин?»

У меня даже живот болел – так я смеялся над Чарли.

– Да нет, с ним все в порядке, – ответил Берк. – Просто не люблю я, когда большие парни гоняются за маленьким смешным человечком. У него и девушки нет. Никогда».

Вскоре сержант Берк погибает от пули японского стрелка в Пёрл-Харборе.

Напрашивается любопытная, хоть и очень смелая гипотеза: на самом деле подлинным творцом вечного мятущегося подростка был Чарли Чаплин, уже укравший Уну. Сэлинджер лишь воспроизвел матрицу «бродяги»: «Над пропастью во ржи» – это те же «Огни большого города», только замените котелок каскеткой. Чистота детей, испорченность взрослых – о чем еще говорят нам фильмы Чаплина? Он дал первый толчок. Что же касается карикатуры на буржуа, тут успели поработать еще Бальзак, Флобер и Золя. Завершением в двадцать втором году стал американский роман «Бэббит» Синклера Льюиса. Оставалось только воссоздать образ романтического и депрессивного юноши, уже представленного у Гёте и Мюссе. Холден Колфилд – смесь Чарли и Октава из «Исповеди сына века».

После войны, с сорок шестого по пятьдесят первый (год публикации «Над пропастью во ржи»), Дж. Д. Сэлинджер слушал Билли Холидей, Арта Тэйтума и Чарли Паркера в джаз-клубах на Пятьдесят второй улице, между Шестой авеню и Бродвеем, например в «Голубом ангеле». Захаживал он и в «Сторк-клуб». Как-то раз он встретил там Хамфри Богарта: тот пришел с огромной плюшевой пандой и представлял ее всем как свою невесту. Какая-то девушка попыталась стащить у него панду, и дело кончилось потасовкой.^[122] Джерри мог видеть и Уну, которая ужинала иногда в «Сторке» с Чаплином, за тем же столиком, что и до войны. Не думаю, что они поговорили: Чаплин был очень ревнив. Но я хорошо представляю себе,

как Джерри, сидя в одиночестве у стойки бара, переживает свое прошлое и свою неприкаянность, слушает музыку и смех и с открытым ртом наблюдает за стычками и объятиями. Джерри прячется в большом зале, Уна с мужем в Sub Room для избранных: каждому свое. С сорок четвертого по сорок пятый, в самый долгий год войны, «Сторк» ни на день не закрывался. Я так и вижу, как Сэлинджер слишком громко смеется, одним махом заглатывает виски и разговаривает сам с собой, представляю, как бармен спрашивает, все ли с ним в порядке.

– Давай, выпей со мной, – говорит ему Джерри. – Я же победил Гитлера, for God's sake.^[123]

– Нет, спасибо, – отвечает бармен.

– Нет, ты выпьешь, тыловая крыса!

И Джерри выплескивает содержимое стакана бармену в лицо.

– Оближись за мое здоровье, сукин сын! Не то я распилю тебя пополам и посмотрю, что там у тебя в брюхе.

Вышибалы выволакивают Джерри на улицу, он выдворен из «Сторк-клуба», избитый, пьяный, как Хоакин Феникс^[124] в начале «Мастера».^[125]

– Это был мой столик, шестой, я здесь у себя дома, понял, недоносок!

Все это в высшей степени вероятно. Сэлинджер покинул Нью-Йорк, потому что его уже никуда не пускали. Ту же горечь подранка испытал в девятнадцатом году Адольф Гитлер. Демобилизованный и неприкаянный, разочарованный и праздный, побежденный и проигравший по всем статьям, Джерри бежал, чтобы не стать диктатором.

* * *

Нью-Йорк, декабрь 1947 года

Дорогая Уна,

я рад за тебя, ты дивно выглядела вчера вечером за шестым столиком в «Сторке», в золотистом платье цвета шампанского, стекавшем каскадами с твоих мраморных плеч. Я рассчитывал вернуться на родину и жить как прежде, но не получается. Я больше не принадлежу Американской Мечте, не могу вписаться в общество и заказывать креп-сюзетт под наши звездные напевы. Мне хорошо, только когда я взаперти, в уединении, только когда я томлюсь, – ты помнишь, что это был наш любимый глагол?

Грохот вдруг смолк, и все кончилось. Я не могу привыкнуть к тишине. Не знаю, как, иначе чем по-пластунски, прячась, добраться до магазина. Не умею говорить с людьми, не выдергивая чеку из гранаты, чтобы вышибить им мозги. Они этого не понимают, и им не нравятся мои безумные глаза. Я разучился ходить по улице, не вздрагивая от малейшего шума и не порываясь нырнуть за мусорные баки, чтобы укрыться. Жизнь на гражданке – это настоящая война. Я понимаю, добрые сограждане не могут мне простить, что я больше не способен на легкомыслие. Они спешат, переживают по пустякам, опаздывая в контору. Да ведь я бы ничего лучшего и не желал: это моя мечта – ходить в контору или, к примеру, слушать джаз целыми днями, ни о чем не вспоминая. Я в состоянии говорить только с очень юными девушками или очень старыми деревьями.

Каждую ночь во сне я возвращаюсь туда. Вижу руки заключенных, они тянутся к нам, и мы даем им еду, слишком много, и их желудки раздуваются, животы пухнут на глазах. Они плакали, но ни единой слезинки не пролилось из-под их век. Разрыв – вот что страшно: они плакали от радости, а мы плакали от ужаса. Каждое утро я рад, что проснулся, но каждый вечер боюсь уснуть, потому что знаю: я вернусь туда и опять дам им много еды, так много, что их животы лопнут. Никто никогда не поймет, а я не смогу рассказать и сотой доли того, что видел своими глазами. На фотографиях ничего не разглядеть, а слова бессильны.

Да уж это точно плохи мои дела совсем-совсем плохи но это не ты меня убила о нет это даже не ты. Будь счастлива с Чарли, это, в самом деле, мое последнее письмо.

J'ai ri. [\[126\]](#)

* * *

И вот Джером Дэвид Сэлинджер начал придумывать своего героя Холдена Колфилда. Прежде этот персонаж уже появлялся в нескольких его новеллах, как опубликованных («День перед прощанием», июль сорок четвертого, «Сельди в бочке», октябрь сорок пятого, «Посторонний», декабрь сорок пятого, «С ума сойти», декабрь сорок пятого, «Легкий бунт

на Мэдисон-авеню», декабрь сорок шестого), так и отвергнутых журналами («Последний и лучший из Питер Пэнов», 1942, «Океан, полный шаров для боулинга», 1945). Итак, он возвращается к Холдену Колфилду, который лечится от душевной болезни в психиатрической клинике после бегства в Нью-Йорк. И начинает со ставшей знаменитой фразы: «Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, – словом, всю эту дэвид-копперфилдовскую муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом копать».

В пятьдесят первом году Сэлинджер публикует роман «Над пропастью во ржи». Это отчаяние ветерана Второй мировой, пересаженное в сердце нью-йоркского подростка. Роман был отклонен журналом «Ньюйоркер» и издателем Джироксом (который отверг также «На дороге» Керуака). Принятая в конце концов издательством «Литтл, Браун и К°», книга выходит 16 июля 1951 года и стоит три доллара. Сэлинджера уважают в литературных кругах за его новеллы, опубликованные в «Ньюйоркер»: «Хорошо ловится рыбка-бананка» (1948) и «Дорогой Эсме с любовью – и всякой мерзостью» (1950). На выход романа «Над пропастью во ржи» сразу восторженно откликаются Фолкнер и Беккет. Джерри не станет делать никакого «промоушена».

– Я не сумею объяснить, что хотел написать, – скажет он и наотрез откажется от всех интервью.

Идея книги? Или вы приспособитесь к среднестатистическому образу жизни, или кончите в желтом доме. С пятьдесят первого года перспективой свободных умов в капиталистической системе стала психиатрическая больница.

Через три месяца книга занимает четвертое место в рейтинге продаж по версии «Нью-Йорк таймс», кстати раскритиковавшей ее. Вот уже шестьдесят лет книга ежегодно продается миллионным тиражом. Этому успеху и его влиянию на общество можно найти только один аналог во Франции: роман Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть», увидевший свет тремя годами позже.

XI

1952–1953: поворот

Наши жизни – лишь интерлюдии тьмы меж электрическими изгибами Бога Отца.

Юджин О’Нил. Странная интерлюдия, 1928

Непопулярность Чаплина в Соединенных Штатах стала насущной проблемой для его семьи. В ресторанах люди при виде его вскакивали, называя «красным» или «большевиком». В Голливуде от Чарли и Уны только что не шарахались. Их присутствие на новогодней вечеринке отпугнуло всех остальных звезд. Провал «Мсье Верду» стал для обоих жестоким ударом. Они все больше ощущали ненависть, и не только со стороны республиканцев. Однажды кто-то плюнул в Уну на улице. Агрессивность становилась прямо-таки осязаемой. Чарли трижды отказывался свидетельствовать перед Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. В депрессии он начал писать историю любви забытого актера и юной танцовщицы, спасенной им от самоубийства. Это будет «Limelight» («Огни рампы»), слащавая мелодрама, в которой от всей красоты немого кино Чаплина не осталось и следа. Он сам это предсказывал: «В тот день, когда я заговорю, я стану обычным актером, как все». В двадцатые годы великой находкой Чаплина было замедление ритма бурлеска, но находка эта работала только в отсутствие диалогов. Мы привязались к его трогательному антигерою, пьянице и бабнику, способному заставить нас плакать и смеяться, украв конфетку у ребенка или бросив окурок через плечо и наподдав его огромным ботинком. С того момента, как ему вздумалось держать перед нами длинные назидательные речи, он утратил все свое волшебство и тайну. (Лучшее в «Огнях рампы» – Клэр Блум, которая впоследствии станет женой писателя Филипа Рота.)

Атмосфера охоты на ведьм в Лос-Анджелесе достигает такого накала, что Чаплин решает устроить премьеру «Огней рампы» в Лондоне в октябре пятьдесят второго года. Они с Уной и со своими четверьмя детьми (Джеральдиной, Майклом, Джозефиной и Викторией) плывут на пароходе через Атлантику. Именно этот момент выбрал Дж. Эдгар Гувер, директор

ФБР, чтобы начать действовать. На борту лайнера «Куин Элизабет» они получают телекс от иммиграционных служб, уведомляющий, что мистер Чаплин выдворен из Соединенных Штатов и получит визу на обратный въезд только в случае, если ответит за «моральную и политическую непорядочность» перед Советом по дознанию Службы гражданства и иммиграции. Параллельно американский министр юстиции объявляет о возбуждении дела против Чаплина. (По сей день всем въезжающим в Соединенные Штаты задают вопрос: «Являетесь ли вы коммунистом?» Если вы ответите утвердительно, приготовьтесь к долгим часам допроса.) Все газеты пестрят крупными заголовками об «изгнании» Чарли Чаплина. По прибытии в Лондон, а затем в Париж его встречают по-королевски. Двадцать девятого октября пятьдесят второго года на пресс-конференции в отеле «Риц» Чаплин заявляет, что не вернется в Америку.

Подобно многим богатым людям, Уна и Чарли решают обосноваться в Швейцарии, на берегу Женевского озера. Но беда в том, что все состояние Чаплинов в Калифорнии! Семнадцатого ноября пятьдесят второго года в строжайшей тайне Уна возьмет на себя хлопоты по возврату денег. Она вылетает самолетом Лондон—Лос-Анджелес якобы для присутствия на административном совете «Юнайтед артистс». На самом же деле она мчится на Саммит-драйв, где рассчитывает всю прислугу и выставляет дом на продажу, затем летит стремглав к адвокату Чарли, чтобы продать акции. По доверенности мужа она опустошает все сейфы «Bank of America» и забирает оригинальные копии всех фильмов Чарли. Переводит максимально возможную часть их состояния в чеках и ценных бумагах на счета в Европе, а все остальное берет наличными в тысячедолларовых банкнотах и зашивает их в подкладку своего норкового манто. После этого она вылетает в Лондон и весь полет обливается потом, не снимая мехов, в которых спрятаны миллионы долларов. Эту сцену совсем недавно воспроизвел Скорсезе в «Волке с Уолл-стрит». Через год Уна откажется от американского гражданства и станет британской подданной. Чаплин вернется в Лос-Анджелес только на вручение почетного «Оскара», получив в порядке исключения визу на пятнадцать дней; там его ждет «standing ovation», ^[127] по сей день остающаяся самой долгой за всю историю этой церемонии. Я настоятельно рекомендую всем желающим посмотреть эти кадры припасти побольше носовых платков.

Начало пятьдесят третьего года, отель «Шератон» в Бостоне, похожий на все «Шератоны» того времени: коричневые ковры, люстры из посеребренного металла, оранжевые светильники. Стены расписаны геометрическими фигурами, ромбами и прямоугольниками в футуристическом духе. Улыбка девушки за стойкой портье до того механическая, что нагоняет хандру. Сомнению нет места в «Шератонах».

Распростертого на коричневой постели в бежевой комнате Юджина бьет дрожь; писать он больше не может. Он поздравляет Джерри с выходом сборника новелл.

– Я вам звонил, чтобы встретиться. Вы были другом моей дочери. Я умру, не повидавшись с ней. Я не умею прощать, никогда не умел, и она тоже. Я плохо ее растил, я просто не создан быть отцом. Я прочел вашу книгу, и мне захотелось признаться вам в этом. Я знаю, вы были ее женихом до Чаплина. Я... я никогда не понимал, как с ней разговаривать, даже руки ее не смел коснуться. В нашей семье не обнимаются. Ужасно, когда не можешь больше писать, а говорить не умеешь.

Юджин О'Нил произносит эти фразы, как будто читает с невидимого экрана, с дикцией начинающего актера, слишком отчетливо выговаривая слоги и глядя в потолок. Похоже, он долго готовил эту речь. Его рука некрасиво трясется, изо рта течет слюна, от него плохо пахнет. Он проговаривает свою исповедь сам для себя, а может быть, принимает Джерри за священника и надеется на отпущение грехов.

– Мистер О'Нил, – говорит Джерри после долгого молчания, – я вас прекрасно понимаю. Вы чувствовали себя преданным, как и я, вам было невыносимо, что она больше не ваша. Для меня на этой истории давно поставлен крест, но вам еще не поздно помириться с дочерью. У вас нет номера ее телефона в Швейцарии?

– Смотрите, что она мне присылает: фотографии моих внуков. Ее последнее письмо лежит у меня под подушкой, но я не хочу его вскрывать. Кто я теперь для Уны? Подлец, который скоро умрет. Наверно, мне суждено гореть в аду, но с ней я больше не увижусь. Бывают непоправимые ошибки, мы не помиримся, потому что прошлого не изменить, Джером. Ваша книга хороша тем, что не допускает двух мнений в этом вопросе. Ваш герой непримирим, он не выносит лицемерия, он грубиян и идеалист... Он немного похож на вас, не правда ли? Так что вы сами знаете, что дело гиблое. Мы расстались так давно, что столь запоздалое примирение бессмысленно.

– Я не понимаю, зачем вы позвали меня сюда. Чтобы сказать мне это? Я заклинаю вас подать Уне знак, прежде чем... Будда, когда ему плевали в

лицо, говорил: «Мне ни к чему ваше поругание, заберите его себе».

– Где вы живете?

– В Нью-Йорке, а что?

– Уезжайте из Нью-Йорка, поселитесь в тихом месте, подальше от светской суеты. В своем романе вы пишете о хижине в лесу, так найдите же ее, послушайтесь совета старого дурака; только послав к чертям их салонные интриги, вы сможете творить. Я чувствую в вас безумие под стать моему... Ваш «ловец во ржи» – это ведь вы на войне, не так ли? Много товарищей пало на ваших глазах?

– Столько, что и не сосчитать, сэр. С вернувшимися я регулярно вижу. Мы никогда не говорим о тех, что остались там. Пьем и беседуем о бейсболе. Списки имен на памятниках павшим ничего не скажут о них, о тех ребятах. Были среди них форменные болваны, были весельчаки, были и трусы. И бабники, обольстители медсестер! Вот вы отказываетесь говорить об Уне, а я не могу рассказать, какими были эти неизвестные парни, погибшие во Франции и в Германии.

– Вот увидите, однажды у вас просто не будет выбора, так или иначе им придется убраться из вашей головы, и тогда вы наконец от них освободитесь... А пока уезжайте из Нью-Йорка. Уверяю вас, это лучшее, что вы можете сделать.

– Я пришел умолять вас позвонить дочери, а вы хотите изгнать меня с Манхэттена?

– Вот именно. Это моя последняя воля. Вы ведь не нарушите последнюю волю умирающего старика?

Через несколько недель после этой тайной встречи, двадцать седьмого ноября пятьдесят третьего года, в четыреста первом номере отеля Юджин О'Нил испустил дух, прошептал: «Родился в гостиничном номере и, боже мой, умираю в гостиничном номере!»

Джерри перебрался в Корниш, а Чаплины остались в Корсье-сюр-Веве. Считается, что Уна и Джерри больше никогда не виделись.

XII

«Ойстер-бар», весна 1980 года

Таким мужчинам, как я, никогда не следовало бы встречаться с женщинами, подобными вам.

*Ги де Мопассан. Наше сердце, 1890. Перевод
Е. Гунста*

Чарли Чаплин умер рождественским утром семьдесят седьмого года в поместье Мануар-де-Бан. Среди подарков под елкой его дети нашли кинопроектор «Супер-8» и несколько копий его первых фильмов десятых годов. Убитая горем Уна купила двухуровневую квартиру в Нью-Йорке, на Восточной Семьдесят второй улице, и подолгу жила там: в Веве было слишком много воспоминаний. В Нью-Йорке она часто виделась с Труменом Капоте. Он заходил за ней, она ждала его, закутавшись в черную накидку и надев широкополую шляпу. Вместе они шли на собрание анонимных алкоголиков, а заканчивали вечер у него дома, в квартире 870 U.N. плаза (на 21-м этаже), слушая пластинки Шавье Кугата.^[128] Только Уна, одна на целом свете, еще разговаривала с Капоте после скандала, вызванного «Услышанными молитвами». Уна не могла жить без Чаплина. Безбашенная Ирландка топила свое горе в спиртном, как героиня Джин Рис.^[129] В Корсье она прятала бутылки в обувных коробках, в ящиках комода под одеждой, за книгами в шкафах, в карманах своих манто и даже под матрасом. Когда дети покинули поместье, она постепенно стала такой же нелюдистой, как Дж. Д. Сэлинджер. Правда, она регулярно виделась с двумя другими членами Золотого Трио, Кэрол (которая была теперь замужем за Уолтером Маттау) и Глорией (завшейся в четвертом браке Вандербильт-Купер). Они провели несколько уик-эндов в Малибу и вспоминали, хихикая, свои ночи в «Сторк-клубе», которого больше не существовало (здание было снесено в шестьдесят шестом). Время от времени Уна брала напрокат яхту, чтобы совершить круиз под теплым солнышком, или ей вдруг приходила блажь улететь «конкордом» в Париж. В пятьдесят четыре года она закрутила интрижку с молодым, тридцативосьмилетним амбициозным актером Райаном О'Нилом, только что снявшимся в «Барри Линдоне». В следующем году художник Бальтюс

пригласил ее в Россиньер, чтобы познакомить с Дэвидом Боуи, который приехал записывать новый альбом в Монтрё. Софи Лорен привезла в Мануар-де-Бан Майкла Джексона после концерта. Уна уступила ему права на «Smile»^[130] (которую он изуродовал в одном из своих альбомов), но отказалась продать поместье. Однажды Ричард Аведон^[131] сказал ей на вечеринке у Кэрол:

- Говорят, вы уникальны, но я этого не вижу.
- Отнюдь нет, вы правы. Потому что уникальны все.
- О, теперь я вижу, – сказал Аведон.

Большую часть времени она ни с кем не виделась. Мало-помалу за леди Уной О'Нил-Чаплин закрепились репутация малахольной вдовы-затворницы, смешивающей водку с антидепрессантами и разъезжающей босиком в своем «роллс-ройсе» с шофером. И вот наступил день, когда перед всеми своими детьми и внуками, собравшимися вокруг торта с шестидесятью свечами в ее нью-йоркской квартире, она, пошатываясь, заплетающимся языком произнесла тост:

– Всем вам, дорогое мое семейство, в мой шестидесятый день рождения я могу наконец сказать: я ненавижу моего отца Юджина О'Нила! – И рухнула на софу, перепачкав ее хлынувшей из носа кровью.

В семидесятые годы Сэлинджер иногда наездами бывал в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, но об этом мало кто знал. Однажды, в восьмидесятом, Уна получила по почте белую карточку со следующим тщательно выведенным синими чернилами текстом: «Дорогая Уна, не спрашивай меня, как я раздобыл твой американский адрес. Не забывай, что я служил в контрразведке. Ты найдешь седовласого дылда за блюдом морепродуктов и бутылкой шардоне в „Ойстер-баре“ на вокзале Гранд-Сентрал в следующий понедельник в полдень. Джерри». Она не сразу поняла, что речь идет не о Джерри Льюисе.^[132] Дошло до нее из-за Гранд-Сентрал: Холден в романе «Над пропастью во ржи» оставляет свои вещи в камере хранения этого вокзала. Уна нередко обедала в «Ойстер-баре», пила много шампанского и заказывала устрицы. Официанты ее любили: леди Чаплин не раз оставляла сто долларов чаевых.

Вечером у себя дома Уна спросила совета у Трумена Капоте. Идти ли ей на это свидание? Капоте Сэлинджера всегда терпеть не мог: светским людям свойственно принимать нелюдимость за высокомерие.

– Вот, значит, как, ты увидишься с ветераном войны, который пишет, как малое дитя?

– Помолчи. Тебе повезло, ты был слишком молод, чтобы воевать. Ты-то не выдержал бы и десяти минут.

– Я? Среди тысячи красавчиков в ладной форме? Это же мой самый сладкий сон!

– Не смешно. Тебя одно только зрелище смертной казни травмировало на всю жизнь. А там они видели их сотни каждый день.

– Пфф... Сам знаю, ты права. Никому не говори, но я думаю, что именно поэтому написал «Хладнокровное убийство»: хотел загладить свою вину за то, что не воевал. Ох, налей-ка мне еще водки, милая. Знаешь, иногда мне кажется, будто я узнаю Перри Смита^[133] на улице. Я знаю, что это он. Идет за мной, а потом вдруг исчезает.

– Со мной то же самое. Когда я пьяна, мне кажется, что Чарли рядом, я разговариваю с ним, думаю: вот сейчас расскажу ему одну умору, то-то он посмеется, и вдруг вспоминаю, что он умер, и – фьють! – нет его.

– Ты думаешь, мы пьем, чтобы их забыть?

Раздвинув занавески из лавандово-голубой тафты, Трумен смотрел в окно на Ист-Ривер. Полосы на его льняном костюме были того же цвета. С вытаращенными глазами он походил на Петера Лорре из фильма Фрица Ланга «М – убийца».

– Нет, – сказала Уна. – Я думаю, мы пьем, чтобы их увидеть.

– Ты же знаешь, ты – мой единственный друг. Всегда была. Ладно уж, иди к своему ловцу, только при одном условии: потом все перескажешь мне в «Студии 54»!

– В «54»? Лучше пусть мне удалят зуб без наркоза!

Французский режиссер, сценарист и писатель Филипп Лабро в одной из своих книг воспоминаний рассказывает, как однажды встретил Дж. Д. Сэлинджера на вокзале Гранд-Сентрал. Лабро поспешил навстречу высокому сутулому старику с вопросом: «Are you Mister Salinger?» – а тот вдруг завопил что было мочи: «Аааааа!» Не знаю, правда это или просто анекдот, но одно несомненно: я правильно сделал, не позвонив в его дверь в 2007-м. Мне бы не понравилось, начини Сэлинджер орать на меня как резаный.

Войдя в ресторан, Уна не сразу его узнала. Они не виделись сорок лет, а Сэлинджер был не из тех, кто машет руками, чтобы его заметили. И все же она разглядела поджарого седого старика, смотревшего на нее в упор черными глазами. Изменилось все – кроме его глаз доброго орла. Гас Ван Сент попал в точку, дав Шону Коннери его роль в фильме «Найти Форрестера»: сходство просто поразительное. Этаким Джеймс Бонд на

пенсии.

– Ты совсем не изменилась, – сказал Джерри, – я тебя сразу узнал. Высокие скулы, костяк лица – вот в чем секрет, строение все то же, и морщины ничего не меняют. И потом, ты осталась худенькой.

– Что ты несешь, у меня восемь детей! Прекрати надо мной издеваться, что-то плохо начинается наша встреча. Официант, одну водку, пожалуйста. А ты ничего не пьешь?

Ее пальцы нервно теребили жемчуга на шее. Она чувствовала себя глупо: зачем надела костюм от Шанель? В нем она выглядела чопорной богатой старухой. Уна вдруг поняла, что впервые после смерти Чарли ей небезразлично чье-то мнение о ее внешности.

– Хитер был Чаплин, живо заделал тебе восемь ребятишек, – хмыкнул Джерри. – Чтобы ты никуда от него не делась и сидела с ним в его швейцарском замке.

– С тобой я сидела бы в хижине в лесной глуши, это еще хуже!

– Он тебя съел с потрохами, заставил бросить карьеру актрисы.

– Я не жалею, Джерри. Я была счастлива, меня не снедали амбиции, как тебя.

– Ты могла бы стать великой кинозвездой.

– Эка невидаль! Сегодня я была бы бывшей кинозвездой.

– Ты провела лучшие годы жизни с развалиной в инвалидном кресле. Ему-то хорошо, он жил с молодой красавицей! Он не жертвовал собой ради тебя!

– Но я тоже! Я влюбилась. Мужчины в тысячу раз красивее в пятьдесят лет, чем в двадцать. Я не жертвовала собой, ты это прекрасно знаешь, сам написал в одной новелле: нет на свете ничего интереснее, чем о ком-то заботиться. Я была великодушна из чистого эгоизма. И потом, рожать детей полезно при склонности к депрессии... Это не позволило мне уподобиться моим братьям и покончить с собой.

Увидев ее, Джерри вспомнил, как ныло у него в животе всякий раз, когда он на нее смотрел. Как он мог уйти на войну, вместо того чтобы остаться с ней? В ту пору он отдал бы жизнь за эту старую кобылу с наруганными щеками и неправильным прикусом. Он злился на себя за то, что не ощущал больше ожога своих двадцати лет, но был доволен, что все еще испытывает боль. Уна всегда делала ему больно: есть люди, которые рождены для этого; мы сами даем им право мучить нас всю жизнь. Он сожалел не о боли, а о своей юности. Не мог ей простить, что она постарела так же, как он. Двое бывших любовников, у каждого позади жизнь, дети, воспоминания, два старика на железных табуретах, а перед

ними только бутылка белого вина в ведерке со льдом (к которому они не притронулись) и неминуемая смерть: ее – через десять лет, его – через тридцать.

– Знаешь, – снова заговорил Джерри, – я поступил так же, как Чаплин. Когда мне исполнилось пятьдесят четыре, я завел восемнадцатилетнюю подружку. Мы продержались год. Слава богу, детей у нас не было. Ее звали Джойс Мейнард.

– Вот видишь, дело вовсе не в возрасте.

– Нет, именно разница в возрасте – секрет крепких пар. Я понял Чаплина, когда пожил, как он. Юность, невинность, порыв и чистота, все вместе... Свежее тело и доверчивая душа – что еще надо старику?

– До войны ты не был мужчиной. А мне был нужен мужчина.

– Отец, ты хочешь сказать.

– Мы были так молоды и так глупы... Чарли смешил меня, а ты никогда не был забавным. Слушай, эта встреча, наверно, плохая идея, давай прекратим, не то...

Не закончив фразу, Уна предпочла залпом допить водку, словно русский сорокаградусный напиток мог прогнать дурную мысль. Дружбачитатели, мы с вами взрослые люди; если вы дошли со мной до этой страницы, знайте, что это не выход. Когда в горле перестало жечь, Уна заговорила громче, чтобы перекрыть гомон облепивших стойку бара клиентов.

– Кстати, знаешь, я могу ответить на вопрос Холдена про уток в Центральном парке! Они там и зимуют. Пруд в Центральном парке никогда не замерзает полностью, всегда остается прорубь, куда можно нырнуть и найти под водой пищу. Если бы он весь замерзал зимой, они бы улетали, но им это ни к чему. Утки Центрального парка живут там круглый год, Джерри. Так и сидят на одном месте. Зимой им не холодно. Они как ты – домоседки. И канадские гуси, лебеди, цапли, чайки... они никуда не улетают, и не думают даже. Никто не покидает Нью-Йорк. Всю свою жизнь ты сочинял вздор, Джерри.

– Я рад: я-то думал, что ты меня не читала.

– В сорок первом ты был невыносим, как все мальчишки твоего возраста. И потом, уж слишком ты был длинный. Чарли хотя бы подходил мне по росту. Мы были идеально соразмерны.

– Лилипутская семейка!

– Джерри, я сейчас скажу тебе одну вещь про Чарли. Он был ревнивцем, скрягой, эгоистом, маньяком, нарциссом, мегаломаном, злокой, скандалистом, снобом и бабником, но я его любила, что тут поделаешь,

любила. Я не выбирала его из меню.

Сэлинджер высосал устрицу с тем же звуком, какой издает опорожняющаяся ванна.

– Чарли Чаплин, вне всякого сомнения, величайший сатирик всех времен, – сказал он, утерев рот салфеткой. – И именно по этой причине я всю жизнь его ненавижу.

– Я не в силах смириться с его уходом. Правда, это слишком больно. Я не могу, хоть у меня восемь детей и я люблю их. Жить без него... Теперь я против разницы в возрасте. Чего бы я только не дала за еще одну минуту с ним, пусть больным, немощным, выжившим из ума и оглохшим. Какая это мука! Закажи мне еще водки, straight, please, самой мне стыдно.

Джерри посмотрел на нетронутую бутылку белого вина и сделал знак официанту.

– Раз уж мы разоткровенничались, – продолжала Уна, – до сих пор не понимаю, почему ты даже не попытался переспать со мной.

– Ты лежала в постели бревном, не издавала ни звука и, стиснув зубы, позволяла себя лапать. И твои всегда холодные ноги... Такая зажатая, такая красивая, но боже мой, какая же ты была стерва!

– Я просто робела, балда! Ждала, что ты сделаешь первый шаг...

– Что верно, то верно, мы были молоды и глупы. В армии я влюбился в тебя, потому что ты была далеко. Потому что мои друзья погибали по жребью, играли в лотерею на выпущенные кишки. Я любил тебя, потому что мы так и не переспали, а завтра мне предстояло умереть. Я пришел сюда, чтобы сказать тебе кое-что о твоём муже. Я очень сожалел о том дурацком письме, которое послал тебе, когда вы поженились. Чаплин избежал двух войн, но он принес куда больше пользы. Он снял «Великого диктатора». Соединенные Штаты не спешили вступать в войну. Общественное мнение было против. Слишком много жизней унес восемнадцатый год. Успех фильма коренным образом все изменил. Как подумаю, что эти засранцы выдворили вас только потому, что Чарли ратовал за второй фронт... Он был прав: нам следовало вмешаться раньше. Еще в конце сорок второго. Да, вот, смотри, у меня для тебя подарок.

Нагнувшись, Джерри достает из дорожной сумки сложенную вчетверо тряпицу и с максимальной осторожностью кладет ее на стойку бара.

– Что это за узелок с грязным бельем? – спрашивает Уна.

– Одна штуковина, она принадлежит тебе. Она не в лучшем состоянии, но немного хорошего клея – и ты сможешь ее починить.

Уна разворачивает тряпицу. На столе перед ее глазами лежат пять осколков белого фарфора, блестящих, как яичный белок.

– Каких-то кусочков не хватает, смотри не порежься.

Бережно, с великой осторожностью, Уна берет осколки и пытается сложить их, точно ребенок, сосредоточенно собирающий головоломку. И ей удастся восстановить силуэт аиста в цилиндре и с сигаретой в клюве. Она вдруг молодеет на сорок лет, глаза блестят, как у маленькой девочки перед рождественской елкой. А Джерри встал, он уже на ногах, торопится уйти: вечная его мания.

– Осторожней, там пепел. Может быть, это прах сожженных в Дахау, а может, пепел от сигары Эрнеста Хемингуэя. Уж и не помню, я ни разу не мыл эту штуку, она с войны лежала в чемодане. Моя дочь нашла ее на чердаке, когда прибирала в доме.

– И ты написал мне, чтобы ее вернуть. Ты все такой же шутник.

– Я рад, что повидал тебя. Ты по-прежнему совершенно совершенна, леди Чаплин.

– Ох, да уж, досталось этой пепельнице. Боже мой, «Сторк-клуб»... как давно все это было.

– Я умер в мае сорок пятого, но ты – ты была мертва с самого начала, с тех пор как тебя бросил отец.

Уна старается не встречаться с ним глазами. Ее руки дрожат, но Джерри взволнован еще сильнее, поэтому он хочет уйти первым, пока не стал посмешищем. Они одновременно смотрят на стеклянный потолок.

– Нет, в войне с отцом я победила. Я ведь выжила.

– Мне не стоило бы говорить тебе об этом... Я виделся с Джином незадолго до его смерти, в Бостоне. Занятный тип твой отец. Он написал мне странное письмо после выхода «Девяти рассказов», что-то вроде предписания явиться, как то, что я послал тебе. Знаешь, он хранил твои письма под подушкой. Бедный старик. Кстати, ты на него похожа. Но он был куда более одинок, чем ты. До скорого, Glamour Girl of the Year. – Голос Джерри срывается. – Мне пора, не то опоздаю на поезд. Береги себя.

– Ступай, bloody catcher,^[134] возвращайся в свое укрытие. Спасибо за аиста.

– И ты тоже возвращайся в свое швейцарское поместье, здесь тебе нечего делать. Сиди дома и бери пример с меня: медитируй. Не встречайся ни с кем, кроме тех, кто тебе необходим. Спасайся, во всех смыслах этого слова. Прощай, little Уна. Оставляю тебе счет, по своему обыкновению!

Джерри целует ей руку. Уна поспешно отдергивает ее, чтобы он не заметил коричневых пятен. Она поднимает стакан, а он склоняется перед ней в прощальном поклоне, низко, как индус. Она достает из сумочки пачку долларов. Заметив, что он улыбается, она понимает, что почти

никогда в жизни не видела его улыбки. Она дожидается, когда он окажется на другом конце вокзала, и только потом позволяет себе расслабиться.

– Oh shoot...^[135]

Увидев, что она оседает, бармен бросается к ней, спрашивает, что случилось; его жалость бесит Уну. Совладав с собой, она вытирает глаза тыльной стороной ладони, которую поцеловал Джерри, допивает водку, потом вино. Выйдя с вокзала, она надевает темные очки, и свежий ветерок сушит ее щеки. Через несколько метров на заднем сиденье «кадиллака» она снова начинает плакать. Ее выдавший виды шофер, не оборачиваясь, протягивает ей коробку бумажных платков. В зеркальце он, однако, может разглядеть, как Уна гладит осколки белого фарфора.

– Восточная Третья, угол Пятьдесят третьей улицы, – говорит она.

Четверть часа спустя черный лимузин тормозит у ограды парка. Шофер выходит, распахивает дверцу перед Уной, и та с достоинством выходит из машины. Она останавливается у таблички с надписью: «Парк Пали». Некоторое время стоит неподвижно, словно хочет отыскать «Сторк-клуб», ныне сгинувший, ставший крошечным уголком зелени, зажатым между двумя многоэтажными зданиями Пятьдесят третьей улицы. Потом она медленно идет по парку к водопаду в левом углу и под кустами достает из сумочки осколки разбитой пепельницы. У стены, на том самом месте, где располагался шестой столик, она опускается на колени и принимается руками рыть землю, чтобы похоронить осколки в клумбе. Спешащие прохожие смотрят на нее и недоумевают, с какой стати эта бродяжка одета в костюм от Шанель. Садясь в «кадиллак», Уна все еще плачет, и шофер думает, что на сей раз сомнений быть не может: леди Чаплин окончательно тронулась умом.

Швейцарско-пиренейский эпилог

*Красота – это главное в жизни. Если вы ее нашли,
вы нашли все.*

Чарли Чаплин

Я жил в любимом отеле Набокова («Монтрё-палас», люкс 60). Некоторые толкователи говорят, что он вдохновился именем Лилиты Грей, второй жены Чаплина, чтобы назвать самую знаменитую свою героиню. В парке, между отелем и водоемом, восседает безобразная статуя пузатого писателя, развалившегося на колченогом стуле. Печальный конец для обольстителя нимфеток, собирателя бабочек, чародея прозрачных слов. Я и сам не отказался бы упокоиться на этом кладбище мастодонтов, как Владимир и Вера, Чарли и Уна, Джеймс Мейсон, Поль Моран, Уильям Холден, Полетт Годдар и Эрих Мария Ремарк (в Порто-Ронко), Трумен Капоте (в Вербье), Одри Хепберн (в Толошеназ), Жорж Сименон (в Эпаленже), Грэм Грин (у своей дочери Кэролайн в Корсо), Коко Шанель (в Лозанне), Грета Гарбо (в Клостерсе, близ Давоса)... Все эти изгнанники налоговой политики были знакомы между собой, приглашали друг друга к обеду, наносили визиты. Женевское озеро блестит даже в тумане: когда солнце пробивается сквозь облака – это называют ореолом, – лучи его дробятся на водной зыби и гора отражается в играющей радугой воде. Набоков говорит о «прогалинах света». Действительно, я пишу эти строки и вижу с моего балкона две горы: настоящую, напротив, прочерчивающую небо электроэнцефалограммой на сером фоне, и другую, ее перевернутое отражение в озере, этакую подводную пирамиду. Набоков в «Других берегах»^[136] описывает «озеро в час чаепития, испещренное черными точками лысух и хохлатых чернетей». Реагировать на подобную фразу можно двояко. Либо покивать с умным видом (мол, понял, не дурак), либо выяснить, что лысуха – это черная птица с белым клювом, а чернеть – разновидность утки, тоже с черным оперением и желтым клювом. Уточню, что я из тех, кто ищет в Википедии. Я нашел еще хохлатую поганку (птицу с плоской головой и панковским гребнем), крякву (с зеленой головой) и серую цаплю. Старость – это когда уже есть время поинтересоваться названиями птиц.

В Корсье-сюр-Веве я посетил дом семьи Чаплин, который скоро станет

музеем. Не исключено, что Мануар-де-Бан будет в ближайшее время переименован в «Chaplin's World». К сожалению, белый дом еще не открыт для посетителей. Он окружен парком в четырнадцать гектаров, куда можно проникнуть, перебравшись через проволочное ограждение, если ты смел, спортивен и помешан на кино: табличка «Осторожно, злая собака» никого не отпугивает (сам я за полчаса незаконного проникновения не слышал ни малейшего лая). Прячась за желтыми буками и согбенным гигантским кедром в саду, я вспоминал виллу Наварра, когда она ветшала и разваливалась после смерти деда и бабушки. Интересно, водятся ли привидения в этом необитаемом ныне поместье, где Уна прожила всю свою жизнь? Ее дети и внуки рассказывают, что после смерти Чарли их мать и бабушка замкнулась в молчании. Уна Чаплин умерла от рака поджелудочной железы двадцать седьмого сентября девяносто первого года, в шестьдесят шесть лет, за двадцать лет до Джерри Сэлинджера. Одна из ее последних фраз была: «What the fuck did I do with my life!»^[137]



Выйдя из вашего дома, я склонился над вашей могилой, Уна, на окутанном туманом кладбище Корсье, где закончился ваш земной путь. Я сфотографировал этот камень в цветах, который считаю могилой двадцатого века.

Солнце нерешительно садилось за кроны больших деревьев, которые переживут нас. На моей бороде намерзали сталактиты; я слушал в наушниках «Scarborough Fair»^[138] Саймона и Гарфункеля. Слова этой средневековой песни – определение галантной любви: это любовь рыцаря к прекрасной даме, которую он даже не видит и любит на расстоянии, ни на что не надеясь в ответ. Любовь взаимная счастлива, но заурядна, любовь галантная мучительна, но возвышенна. Сэлинджер и Уна – это история галантной любви. Чаплин и Уна – самый счастливый брак, какой я знаю. Жизнь, можно считать, состоялась идеально, если пережить и то и другое, как Уна.

Я думаю, галантной любви не стоит желать и злейшему врагу. Но я думаю также, что литература – не жизнь и что нет ничего прекраснее в книге, и только в книге, чем подобные непрожитые истории. Они не состоялись, ничего не дали, не длились, они были (или не были) лишь для того, чтобы стать романом или поэмой. Давным-давно трубадуры в своих смешных нарядах поняли, что иные истории заслуживают большего, чем быть пережитыми; пропев свои оды недосягаемой прекрасной даме, они зачехляли мандолину и, вскочив на белого коня, отправлялись отдыхать в объятиях законной супруги. Они искали несчастья вне стен своего дома. Их жизнь была богата всеми этими историями любви, которых не было в жизни. Воздадим должное несостоявшимся встречам, заполняющим наше воображение: они не менее важны, чем наши удачные браки. Уна сумела изгнать несчастье из своей жизни на период с семнадцати лет и до смерти Чарли.

Почему мы пишем ту, а не иную книгу? Понятия не имею, честно, ни малейшего понятия. Я прожил четыре года изо дня в день с людьми, которым сейчас было бы, будь они еще живы, восемьдесят девять лет (Уне О’Нил-Чаплин), девяносто пять лет (Джерому Дэвиду Сэлинджеру) и сто двадцать пять (Чарли). Надо верить, что мертвые моложе живых. По какому праву взялся я сочинять их молодость? Я только что понял. Мне хотелось знать, кто победил – Джерри или Чарли. Вечный подросток, удалившийся от мира? Или добрый дедуля, заделавший ораву детишек матери-наседке? Мятежный затворник или обуржуазившийся экс-анархист? Мизантроп из лесной глуши или изгнанник налоговой политики из светского общества? Кого надо было выбрать – молчаливого ветерана или первого набоба?

Между чистой душой и мирской жизнью я сделал тот же выбор, что и Уна. Уна жила долго и счастливо, и было у нее много детей. В кои-то веки это не присказка, а правда.

Я родился в шестьдесят пятом, через двадцать пять лет после сорокового. Память о войне еще так свежа. Четверть века – какая малость: меньше половины моей жизни. Мне кажется, время течет не в одну сторону: секунды, минуты, часы и дни подлежат не только сложению, но и вычитанию, приближающему нас к поре до нашего появления на свет, словно время год за годом облегчает нашу ношу. Минутой больше прожито – но и минутой меньше ждать возвращения в мир до нас. Мне и вправду кажется, что я старею в двух направлениях: идя к будущему и возвращаясь к прошлому. С тех пор как мне исполнилось сорок лет, я чувствую, что прошлое все ближе; во время работы над этой книгой я порой физически ощущал, будто помню сороковой год. В моем детстве Париж кишел призраками, а я об этом не знал. Мне ничего не рассказывали. Успокою моих рациональных читателей: это не метемпсихоз и не психоделические глюки («Вауууу, я был рядовым Джо в прошлой жизни, парень»)! Но я реально чувствую себя все ближе и ближе к тем неведомым мне десятилетиям. Психологи называют этот феномен «синдромом ностальгии без памяти». После конца нас ждет то, что было до начала. Я попытался вспомнить эпоху, предшествовавшую моему рождению. Война так близко, в одном взмахе ресниц; меня убедили, что это историческое событие, а между тем война – часть моей сегодняшней жизни. Десятки миллионов убитых, кругом по всему миру калеки и безумцы. Моя страна потеряла жизнь, когда моя жизнь началась. Наши деды не смогли или не захотели рассказать нам о своей войне. Они щадили нас, как Джерри, меняя тему. Наши деды сделали нас вечными детьми, лишь бы защитить. Но они не виноваты. Из-за войны мы никогда не станем взрослыми; только из-за нее. Мы – ее внуки, которые никогда не вырастут. Мы должны попытаться рассказать о ней за них. Кому по силам отдать такой долг? Франция должна две тысячи миллиардов евро: она влезла в долги, чтобы справиться с разрухой и загладить унижение материальным комфортом. Всю вторую половину двадцатого века социальная защита врачевала раны от поражения защиты военной. Сегодня французские правительства пытаются сократить бюджетные расходы, чтобы погасить займы, которыми некогда успокаивали потерпевших поражение. Всю жизнь мне придется выплачивать этот долг за войну. (Напомним, что именно долг Германии привел к избранию Гитлера.)

На другой стороне озера паслись кони. Две черные вороны кружили

над кладбищем. Осень в Швейцарии желто-красная, а потому и кони черные, чтобы отчетливо выделяться на фоне опавшей листвы. Как давно я кружу вокруг вас, Уна, darling, я уже утратил всякое достоинство. Много лет назад я влюбился в покойную ирландку, слишком широко улыбающуюся, чтобы скрыть свою боль, несносную богатенькую дочку с высокими скулами, в вечернем платье, одолженном лучшей подругой. Ваше детское личико, разбившее столько сердец, и мне запало в душу навсегда. Есть на свете ангелы, беда в том, что они все время улетают от нас.

Осень цвета охры, гигантская секвойя клонится в парке Мануар-де-Бан, роняют листья каштаны... а в городе Веве нарисованный на стенах силуэт Чарли Чаплина ростом с деревья в его саду. Я вдруг понял одну вещь: в конце всех его фильмов бродяга с тросточкой, в маленьком котелке и огромных башмаках уходит к горизонту... А на самом деле Чаплин шел к Швейцарии!

Утки на Женевском озере задирают лебедей в Веве зимой. Я готов держать пари, что некоторые из них прилетели из Центрального парка. Луч ноябрьского солнца, отразившись от воды, воткнулся прямо мне в глаз. Он напомнил мне другой солнечный луч, осветивший Вербье в тот Новый год, когда я встретил Уну Чаплин.

* * *

Мне было пятнадцать. Тридцать первого декабря восьмидесятого года я был на рождественских каникулах в Вербье, кантон Вале, где мой отец купил домик. В новогодний вечер нам с братом и компанией друзей удалось войти в «Фарм-клуб» до основной толпы. Эта деревянная дискотека существует и по сей день. В самом тихом уголке зала шикарно одетая дама с собранными в узел начинающими сидеть волосами пила шампанское с маленьким человечком, смахивающим на бульдога, в красной бархатной курточке и огромной черной накидке, придававшей ему сходство с Зорро (или, скорее, со слугой Бернардо, вырядившимся в плащ Зорро). Пока вся деревня целовалась на центральной площади, мы пробрались в самый закрытый местный клуб, и, конечно же, от нас было много шума: мы не блистали хорошим воспитанием, и мне до сих пор за это безумно стыдно. Смеха ради мои друзья толкнули меня прямо на сидевшую в сторонке пару. Я упал на их столик, опрокинув бокалы с ужасающим грохотом. Джузеппе, один из близнецов-итальянцев, владевших «Фарм-клубом», извинился перед миссис Чаплин и велел мне убираться вон. И тут бульдог в красной

курточке вступился за меня, заговорив по-французски с американским акцентом:

– Оставьте мальчишку в покое, ничего страшного не случилось. Он молод, а сегодня Новый год, надо же пострелятам повеселиться.

Говорил он с трудом, еле ворочая языком. Метрдотель выпустил мою руку и набросился на моих друзей. Собирая усеявшие ковер осколки стекла, я лепетал извинения.

– Мне ужасно жаль, простите меня, мсье-дам. Это друзья меня толкнули... Простите, но патрон, кажется, назвал вас миссис Чаплин... Вы родственница Чарли?

– О, в некотором роде... Мсье?..

– Бегбедер. Я очень сожалею, что разбил все ваши бокалы.

– Когда вы, озорник этакий, рухнули на наш стол, мистер Биг-Биде, мне, признаться, вспомнились первые фильмы моего покойного мужа.

– Но д-далеко не так з-з-забавно, – заикаясь, гнусаво пробормотал ее седой краснолицый спутник в синих очках.

– Чарли не раз играл пьяных, шатаясь и опрокидывая все на своем пути. Еще начиная в театре, он говорил, что это основа всего его комизма: мертвецки пьяный человек всегда смешон, в любой стране и для любой публики, – продолжала Уна.

Я был потрясен и очень смутился. В ту пору подросткам еще было знакомо творчество Чаплина; встретить его вдову для меня было событием невероятным. Она уже мало походила на фотографию в начале этой книги. Поднявшись, я пересказал ей мой любимый гэг Чарли: когда в «Огнях большого города» он ест свисающий с потолка серпантин, перемешавшийся со спагетти в его тарелке.

– Чарли часто снимал спагетти, – сказала она. – Например, в «Золотой лихорадке», когда он ест свой вареный башмак. Помните, как он наматывает шнурки на вилку? Так вот, представьте себе, его вдохновила реальная история. Одна экспедиция заблудилась в горах. Оголодавшие золотоискатели съели свои башмаки... а потом и друг друга.

Вспоминая мужа, Уна улыбалась, как девчонка-фанатка. Она закурила сигарету и выдохнула дым в лицо Трумену Капоте, который и глазом не моргнул: привык за сорок лет. Он забормотал своим высоким голосом:

– Спа... спагетти есть и... и в «Скетинг-ринге». Там он в начале официант в ресторане и... и выписывает счет, подсчитывая пятна на рубашке толстого клиента! Так, он заказывал суп... дыню, спагетти... итого четыре доллара!

– Ха-ха-ха, да! – засмеялась Уна. – А потом он подает на блюде живого

кота! – Она развеселилась. – Но мой любимый гэг – это когда он, обмакнув пальцы в чашку, вытирает их о бороду соседа. С каким серьезным видом он это делает! Ха-ха-ха-ха!

Под мигающими лампочками Капоте смеялся все громче, и я тоже, но Уна вдруг помрачнела. С легким американским акцентом, напомнившим мне мою бабушку, она вежливо спровадила меня.

– Ах, черт, не могу я больше смотреть все эти фильмы, – вздохнула она, – слишком тяжело. Спасибо, молодой человек. Я не люблю говорить о Чарли, но люблю, когда мне о нем говорят. У меня много внуков, они тоже бьют посуду, как вы. Но им я прощаю, потому что они мои внуки. Ступайте к вашей развеселой компании и по дороге попросите Джузеппе принести нам два целых бокала.

– Нарру new year, г-г-гадкий мальчик, – заплетающимся языком промямлил Капоте, протирая очки.

Сэлинджер был не единственным, у кого вышел облом с Уной.

* * *

4 марта 2012 года я написал Кейт Гуйонварч, в чьем ведении находятся архивы семьи Чаплин, письмо с просьбой ознакомиться с письмами Дж. Д. Сэлинджера Уне О’Нил.

«Hello, my name is Frédéric Beigbeder. I am a French writer and Nathanaël Karmitz gave me your e-mail. I am fascinated by the life of Oona O’Neill and currently working on a new novel about World War Two. As you know Oona met Jerry Salinger when she was sixteen, in 1940, before he went to England, France and Germany during the war. They had a small affair in 1941 and then she fell in love with Charlie Chaplin in Los Angeles... and they lived happily ever after! The reason why I am bothering you is that all biographers of Oona always mention long letters from Salinger to Oona during his training in the US Army. As a big fan of American literature and an admirer of Salinger’s and Chaplin’s work, I am very curious to see those letters. The Salinger Estate is against any publishing and of course I respect that. But since Mr Salinger’s passing in 2010, I believe these documents are now part of the history of literature of the 20th century. They are treasures and it’s sad that no one can even read them. It would be for me a tremendous honor to be able to spend even

a few minutes studying these pages in Lady Chaplin archives. I have a theory about them: it is possible that Salinger used his devotion for Oona as inspiration for the first version of The Catcher in the Rye. Which would mean he started his masterpiece using Oona as a Muse, ten years before publishing his only novel! It would be also interesting to compare the Oona letters with his short stories published during the war in Story, Esquire and the Saturday Evening Post, to see if there are similarities. This would contribute greatly to understand the process of Salinger's writing about World War Two.

*Thank you for your time
With my deepest gratitude,*

Frédéric Beigbeder».[\[139\]](#)

Ответ из «Chaplin Office» не заставил себя ждать. Он пришел мне по электронной почте через несколько часов.

*«Dear Frederic
Thank you very much for your email which I have passed on to the Chaplins for their consideration.
As I told Nathanael, to date they have never autorised access to any writer to these letters, but you never know.
I have asked them for a reply for next Monday, so we'll write to you again next week.
Kind regards*

Kate Guyonvarch».[\[140\]](#)

Двенадцатого марта ответ от семьи Чаплин упал как нож гильотины. На этот раз он был написан по-французски:

*«Здравствуйте, Фредерик,
с сожалением вынуждена сообщить вам, что большинство членов семьи Чаплин не желают, чтобы письма их матери были предоставлены в ваше распоряжение для чтения.
Искренне ваша,*

Кейт Гуйонварч».

Я ответил письмецом, исполненным печали (тоже по-французски):

*«Дорогая Кейт,
благодарю вас за любезность. Честно говоря, я ожидал
чего-то подобного... Тем хуже или тем лучше. Пусть
замечательные письма Джерри Уне навечно сохраняют свою
тайну.
Ваш*

Фредерик Бегбедер».

В моем на диво спокойном письме была капелька лицемерия. Признаться, я вздохнул с облегчением, когда меня не допустили к этой мифической переписке. Действительно, если бы я мог прочесть подлинные письма Джерри, то никогда не сумел бы их сочинить.

* * *

А теперь мне бы хотелось рассказать о моей встрече с Ларой Мишели так же дотошно, как Амьель^[141] в своем дневнике описывает бал у основателей частного швейцарского банка Пикте и де Соссюра в 1861 году: «Здесь собрались лучшие люди Женевы, сливки общества, и дюжина дивно красивых особ украшала, подобно розам, этот изысканный цветник изысканно одетых женщин».

После поездки в Монтрё и Веве я был приглашен ставить диски в одну галерею современного искусства в старой Женеве. Я считал – и считаю до сих пор – ремесло диск-жокея одним из самых приятных способов сохранить молодость. Диджей должен быть в курсе сегодняшней музыки, выглядеть мало-мальски презентабельно... и выбирай себе диски, это обходится дешевле лифтинга. В девяносто четвертом году я опубликовал роман, герой которого, французский диск-жокей, становится рок-звездой планетарного масштаба: с тех пор Дэвид Гетта^[142] и Daft Punk^[143] воплотили мою фантазию в жизнь. Но мне до них далеко: я лишь отбираю музыку, это не работа и не творчество, я это делаю как вор или шлюха, мотая головой и жестикулируя под прикрытием культурного алиби писателя-переростка. Диджей, однако, полная противоположность писателю: он должен удовлетворить клиента немедленно. Он внимательно следит за танцующими, чтобы угадать, какую песню им хочется услышать.

Он повинуется им, тогда как Чаплин говорил: «Зритель – мой раб». Если диджей – артист, значит искусство и вправду стало чистым маркетингом.

На выставке были представлены полотна американского художника Гари Симмонса с изображенными на них нью-йоркскими небоскребами. Они были нарисованы мелом на черном фоне и слегка размазаны рукой. Мрачное видение небоскребов, охваченных пламенем или тонущих в тумане... Я пил шампанское, которого терпеть не могу (но водки не было). И вдруг в самом центре этого пылающего города я увидел глаза Лары. Откуда ни возьмись появилась эта женщина-ребенок на другом конце зала, темноволосая, с улыбкой вампира и аквамариновыми глазами, и я сказал себе: «Что это за девушка?» Такие глаза описать невозможно, как невозможно описать море. Это глаза без определенного цвета: можно сказать, что они сине-зеленые или сине-серые, с золотыми искрами на радужке, но это лишь малая доля реальности, неподвластной словам. Глаза Лары меняют цвет каждые пять минут. Они черные, когда ей грустно, светло-голубые, стоит ей улыбнуться, серые, если холодно, зеленые, если жарко, цвета дождя, неба или бассейна, в зависимости от настроения. Ее глаза – калейдоскоп. Бодлер написал четверостишие о ее глазах:

Как дымка, легкий пар прикрыл твой взор ненастный;
То нежно-грезящий, то гневный и ужасный,
То серо-пепельный, то бледно-голубой,
Бесцветный свод небес он отразил собой. [\[144\]](#)

Еще я сразу заметил ее зубки, заостренные, как кошачьи клыки, и две ямочки, залегающие кавычками у рта, так что каждая ее фраза становится цитатой. Я увидел все это, потому что она улыбнулась, когда одна подруга нас познакомила. Улыбнулась не просто из вежливости. Лучше сказать, просияла улыбкой, искренней, доброжелательной и невинной, ничуть не скептической, над маленьким волевым подбородком а-ля Роми Шнайдер. Лара была, наверно, единственным человеком в Женеве, способным сказать «nice to meet you», в самом деле так думая. Она напоминала сестер Бувье в одном лице: меланхолия Жаклин Кеннеди и изыск Ли Радзивилл. Ее каштановая шевелюра была длинной, чувственной, а брови подведены, как у Уны О'Нил. Красота Лары была несегодняшней, вневременной, и я оцепенел: лицо у меня, наверно, было как у приговоренного к электрическому стулу в тот момент, когда палач поворачивает тумблер на две тысячи вольт. Я принес четыре бокала шампанского, чтобы она догнала

меня. Я рассчитывал, что алкоголь поможет преодолеть смущение, ее и мое. Мне было сорок пять лет, ей двадцать – старый заика, пытающийся распустить хвост перед оробевшей принцессой. Не ее красота или молодость привлекли меня в тот вечер, а что-то другое, чему и названия не подберу. Что-то почти сверхъестественное, словно предчувствие радости жизни, которую она мне вернет, инстинктивный порыв, приоткрытое оконце, за которым замаячила возможность земного счастья... ну ладно, к ее красоте я тоже не остался равнодушен, как и к ее вполне приличного размера грудкам.

Я вернулся ставить диски, но душа к этому занятию уже не лежала. Я подзабыл, что мы не в ночном клубе, а в продвинутой художественной галерее. Никто не танцевал, даже под «Black or White» Майкла Джексона (обычно эта песня действует безотказно, или я так отстал от моды?). Коллекционеры современного искусства разбрелись по экспозиции во все стороны. Покупатели, все сплошь банкиры, выходили на улицу выкурить по сигаре. Интересно, понимают ли они сами, что нет большой разницы между их дневной деятельностью (инвестировать в акции, облигации и пенсионные фонды) и ночной страстью (инвестировать в полотна, скульптуры и пластмассовые инсталляции). Хозяин то и дело просил меня убавить звук. Прямо перед моими колонками стоял поднос с бокалами шампанского; люди брали их, сочувственно улыбаясь мне. Иные, читавшие все мои книги, кроме «Каникул в коме», недоумевали, почему у меня на голове наушники. Короче, перед этим фарфоровым созданием выглядел я то ли холуем, то ли шутком гороховым. И тогда я решил совершить публичное самоубийство: поставил «My Heart Will Go On»,^[145] песню из «Титаника», которую исполняет под финальные титры Селин Дион. Пока канадка надрывала глотку: «Near, far, wherever you are»,^[146] я, пьяный и пунцовый, вскочил на буфетную стойку и, раскинув руки, как Христос—Ди Каприо, распятый на носу обреченного корабля, завопил: «I'm the king of the world!»^[147] К моему несказанному изумлению, Лара направилась прямо ко мне и, протянув мне руку, вместе со мной взобралась на шаткий стол с риском для обеих наших жизней.

– Мадемуазель, вы – айсберг?

– Нет, но вы напоминаете «Титаник».

Она танцевала, прижавшись ко мне, до самого конца этой сладкавой песни, ставшей с тех пор одной из моих любимых; мы так и стояли перед ее встревоженной матерью на столе, переплетя пальцы. Я часто спрашивал ее потом:

– Почему же ты залезла танцевать со мной под песню из «Титаника»?
– Из жалости. От стыда за тебя. На тебя, правда, было жалко смотреть.
И потом, мне очень нравится этот фильм, и я выпила твои четыре бокала...

– Я был смешон, зачем же ты присоединилась ко мне, когда мы едва знали друг друга?

– Надо полагать, мне захотелось побыть смешной вместе с тобой.

Пользуясь случаем, я хочу торжественно поблагодарить Селин Дион за неоценимый вклад в мое личное счастье.

– Ты меня склеила.

– Нет, это ты меня склеил.

– Нет, ты.

– Нет, ты.

Уже три с лишним года продолжается этот спор.

Потом я предложил Ларе поесть со мной сырного фондю. Должен открыть вам одну касающуюся меня истину: я не утонченный денди, я грубый мужлан, обожающий котелки, полные желтой, вязкой, обжигающе-горячей и вонючей жижи. Грюйер, эмменталь, аппенцель и бофор, расплавленные и перемешанные с чесноком и сухим белым вином, – вот для меня вершина гастрономии. И пусть от свитера и костюма разит потом неделями. Я встретил самую красивую девушку в Женеве: предстояло подвергнуть ее последнему испытанию. По-хорошему, такая красавица должна была бы отказаться и бежать прочь с гримасой отвращения на лице. Она же вежливо приняла приглашение – на щеках снова залегли две ямочки, – хотя для нее фондю не было швейцарским блюдом: это савойские штучки, для туристов. И тут я понял, что эта барышня создана для меня: фондю сыграло для нас роль золотого кольца в сказке «Ослиная шкура». Девушка, готовая поесть фондю с незнакомцем в первый же вечер, – это еще эротичнее, чем если бы она сразу согласилась отдаться. Как бы то ни было, после такого ужина ни о каком интиме не может быть и речи. Избавлю вас от подробностей нашей сырной оргии (чтобы составить о ней представление, обратитесь к комиксу «Астерикс и гелветы» Госинни и Удерзо, страницы двадцать и двадцать один).

Потом друзья предложили нам сходить в гейский бар. Я согласился без колебаний: она будет там единственной девушкой, а я единственным гетеросексуальным мужчиной. Это повышало мои шансы поцеловать ее (если только она не лесбиянка). Что и произошло после нескольких рюмок текилы. Была глубокая и нежная попытка сближения в потертом кожаном кресле, в задней комнате гейского бара, расположенного между двумя женевскими секс-шопами... Когда соприкасаются два языка, бывает, что

ничего не происходит. Но бывает, происходит что-то... О боже мой, происходит что-то такое, отчего хочется растаять, раствориться, как будто двое входят друг в друга, зажмурившись, чтобы все внутри перевернуть. Тут читатель вспомнит, что уже где-то читал эти строки: это было на странице 84. Поймите меня правильно. Это Уна привела меня к Ларе. Если наша жизнь – путь, то в тот вечер, целуя Лару, я чувствовал, что прибыл в пункт назначения, к заветной цели.

Лара согласилась зайти в мой номер в гостинице; я предложил ей лечь со мной – просто лечь спать, ничего не делая; надо иногда уметь лгать юным незнакомкам.

– Хорошо, только можно я попрошу тебя почистить мне зубы?

Она села на диванчик отеля «Ла-Резерв», а я, стало быть, действовал следующим образом: пошел в ванную, налил в стакан воды и вернулся с зубной щеткой, на которую выдавил пасту, и двумя стаканами – полным и пустым. А потом она открыла рот, и я почистил ей зубы, очень бережно, с бесконечным уважением к ее деснам. Мне кажется, будто эта сцена протекала в замедленном темпе. Прополоскав рот водой из первого стакана, она сплевывала ее во второй. Не сомневаюсь, что вам противно представить себе такое, но это было вовсе не противно, это было... наше начало. Мы спали вместе в ту первую ночь. Все произошло слишком быстро? Нет, нам просто не терпелось прийти друг к другу. Я, со своей стороны, ждал этого сорок пять лет. Я взял гостиничный блокнот и нацарапал вот что:

Стихам моим грош цена —
Не беда:
Я люблю тебя на —
Всегда.

Не Бодлер, конечно. Я написал это не раздумывая, машинально; отложив ручку, я вырвал листок из блокнота и сложил его вчетверо. И вдруг, увидев, как она разворачивает это глуповатое, смешное послание и внимательно читает его, нахмутив бровки и обозначив ямочки, понял, что и вправду так думаю.

* * *



Перед тем как сделать предложение, я повез Лару в Арагон, в Медиано. Вы знаете Медиано? Вроде Женевского озера, только поменьше. Медиано – затопленная деревня в испанских Пиренеях. Одна лишь церковная колокольня торчит из вод озера. Можно проплыть над подводной деревней на лодке. Гребешь и видишь под собой остовы старых домов. В семьдесят третьем году, после постройки плотины Эль-Градо на реке Синке, деревня ушла под воду. Из бирюзовой глади выглядывают верхушки деревьев. Наклонившись, можно представить себе погребенные улочки, лавку, бары, кладбище, мэрию, все эти некогда жилые дома, теперь населенные рыбами, заполоненные илом и водорослями. Когда-то в этой крошечной Атлантиде жили люди, и можно плыть над ней, словно парить над затонувшей жизнью, зеленоватым воспоминанием, мутным и размытым. Медиано – подводные Помпеи, а для экскурсантов расстелен плещущий ковер чистой воды. Развалины брошенных домов на берегу искусственного озера придают пейзажу греко-римский вид. Белые ветки плавают в мелких волнах, лижущих ил и прибрежные камешки. Из воды выглядывают кроны ясеней; затопленный лес продолжает жить; островок в

центре озера окружен соснами и склоненным тростником. Мы проплыли вокруг колокольни без колокола, с которой, однако, по местному поверью, в полнолуние, около полуночи, иногда слышится звон.

Я заканчивал эту книгу и совсем замучил Лару рассказами о жизни Уны О'Нил. В конце концов она рассердилась:

– Ты любишь Уну больше меня!

– Да брось, она уже тридцать лет как умерла!

– Некрофил!

– Послушай, в греческой мифологии муз было девять. Радуйся, что у меня их только две.

Можно довольствоваться просто тем, что ты счастлив, одной ногой в прошлом веке, другой в нынешнем, в ожидании следующей войны. «Счастье – твердое тело, а радость – жидкое», – пишет Сэлинджер в «Голубом периоде де Домье-Смита». Мы плыли по прозрачной радости в надувной лодке, я видел перед собой разноцветные глаза Лары, и мои веки казались двумя водяными бомбами, постоянно грозившими дождем. Цветущий донник привлекал лысх и хохлатых чернтей. Мой кризис среднего возраста продлился десять лет. Я смирился со своим бесконечным отрочеством, со своей участью незрелого, незавершенного мужчины; я всегда буду гадким мальчишкой в теле старика. Лара наклонилась, чтобы еще раз посмотреть на пляшущие среди расплывчатых стен подводной деревни водоросли, на живые деревья, переплетенные с мертвыми, на зыбкие сине-зеленые развалины под нашим летучим каноэ. Потом она скинула рубашку и прыгнула в воду. И тут я вскрикнул от изумления. На миг, перед тем как она нырнула, я увидел на спине ее купальника логотип знаменитой калифорнийской марки спортивной одежды: «О'Нил».

Можете сколько угодно твердить мне, что это простое совпадение... А я предпочитаю думать, что Уна в последний раз подмигнула мне из канувших в прошлое лет. Наши жизни ничего не значат, они тонут в глубинах времени, и все же мы были, и этого у нас не отнять: пусть и жидкие, наши радости не испарятся никогда.

Гетари, По, Женева, 2010–2014

Благодарности

Спасибо Манюэлю Каркассонну за то, что верил в этот замысел четыре года и поддерживал автора в минуты экзистенциального сомнения.

Спасибо Эндрю Нюрнбергу за то, что спросил в 2012 году у Филлис Уэстберг, когда «Salinger Estate» опубликует неизданное, получив в ответ лишь загадочную улыбку, достойную Чеширского кота.

Спасибо Натанаэлю Кармицу и Кейт Гуйонварч за то, что выступили посредниками перед семьей Чаплин (хоть и тщетно).

Спасибо Оливье Нора за его непрошибаемый энтузиазм, невзирая на то что я так невыносимо долго тянул время.

Спасибо Жюльетт Жост и моей матери Кристине де Шастенье, самым взыскательным читательницам.

Спасибо Ларе за то, что сказала «да».

Библиография

Kenneth Anger: *Hollywood Babylon*.
Antony Beevor: *La Seconde Guerre mondiale*.
Charles Chaplin: *Histoire de ma vie*.
Nick Foulkes: *High Society, the History of America's Upper Class*.
Charles Glass: *Les Américains à Paris sous l'Occupation*.
Charles Glass: *Deserter, the Last Untold Story of the Second World War*.
Ian Hamilton: *A la recherche de J. D. Salinger*.
Raul Hilberg: *La Destruction des Juifs en Europe*.
Ghyslain Lévy: *Eugene O'Neill ou l'inconvenance de vivre*.
Joyce Maynard: *Et devant moi, le monde*.
Bertrand Meyer-Stabley: *Oona Chaplin*.
George Plimpton: *Truman Capote*.
Mary Louise Roberts: *What Soldiers Do*.
David Robinson: *Chaplin, sa vie, son art*.
Shane Salerno et David Shields: *Salinger*.
Margaret Salinger: *L'Attrape-rêves*.
Adam Saroyan: *Trio*.
Jane Scovell: *Oona*.
Kenneth Slawenski: *J. D. Salinger, a Life*.

Дж. Д. Сэлинджер оставил нам единственный роман и четыре десятка новелл. Только тринадцать из них вышли книгами: девять в «Новеллах», две в «Фрэнни и Зуи» и отдельной книгой – «Выше стропила, плотники» и «Симор, введение». Вот список остальных новелл, напечатанных в журналах до выхода романа «Над пропастью во ржи».

The Young Folks опубликована в марте 1940 г. в «Стори».
Go See Eddie опубликована в декабре 1940 г. в «Канзас-Сити ревью».
The Hang of It опубликована в июле 1941 г. в «Кольерс».
The Heart of a Broken Story опубликована в сентябре 1941 г. в «Эсквайр».
The Long Debut of Lois Taggett опубликована в сентябре 1942 г. в «Стори».
Personal Notes of an Infantryman опубликована в декабре 1942 г. в «Кольерс».

The Varioni Brothers опубликована в июле 1943 г. в «Сатердей ивнинг пост».

Both Parties Concerned опубликована в феврале 1944 г. в «Сатердей ивнинг пост».

Soft-Boiled Sergeant опубликована в апреле 1944 г. в «Сатердей ивнинг пост».

Last Day of The Last Furlough опубликована в июле 1944 г. в «Сатердей ивнинг пост».

Once a Week Won't Kill You опубликована в ноябре 1944 г. в «Стори».

A Boy in France опубликована в марте 1945 г. в «Сатердей ивнинг пост».

Elaine опубликована в марте 1945 г. в «Стори».

This Sandwich Has No Mayonnaise опубликована в октябре 1945 г. в «Эсквайр».

The Stranger опубликована в декабре 1945 г. в «Кольерс».

I'm Crazy опубликована в декабре 1945 г. в «Кольерс».

Slight Rebellion Off Madison опубликована в декабре 1946 г. в «Ньюйоркер».

A Young Girl in 1941 With No Waist At All опубликована в мае 1947 г. в «Мадемуазель».

The Inverted Forest опубликована в декабре 1947 г. в «Космополитен».

A Girl I knew опубликована в феврале 1948 г. в «Гуд Хаускипинг».

Blue Melody опубликована в сентябре 1948 г. в «Космополитен».

С тех пор эти новеллы ни разу не переиздавались ни в Соединенных Штатах, ни в какой другой стране. Приведенные здесь отрывки я перевел сам, во Франции они не изданы. По сей день «Salinger Estate» (состоящий из вдовы Дж. Д. Сэлинджера Колин О'Нил-Сэлинджер, его сына Мэтью и его агента Филлис Уэстберг) не дает разрешения на посмертную публикацию этой классики американской литературы XX века.

Примечания

Крошечным и изящным. *(Примеч. авт.)*

Вы поедете на ярмарку в Скарборо
(Война ревет, мундиров блещет пурпур),
Петрушка, шалфей, розмарин и тимьян?
(Солдаты получили приказ убивать)
Тогда напомните обо мне той, что там живет
(И сражаться во имя того, что давно уже забыто), —
Той, которую я когда-то преданно любил (*англ.*).

Диана Вриланд (1903–1989) – влиятельная франко-американская обозревательница и редактор в области моды. (Здесь и далее, если не указано иначе, примеч. перев.)

Игра слов: в английском слове присутствуют одновременно fact – факт – и fiction – вымысел.

По-французски «faction» означает пребывание часового на посту, а также мятежную группировку.

Французский гребец Жерар д'Абовиль в 1991 г. в одиночку пересек на веслах Тихий океан за 134 дня.

Джин Тирни (1920–1991) – американская актриса. Считалась одной из самых красивых голливудских актрис.

Здесь и далее цит. по переводу Р. Райт-Ковалевой.

Mayday – международный сигнал бедствия в радиотелефонной связи.

Живописная деревня в Стране Басков.

Нобелевский лауреат 2014 г. известен своей почти болезненной застенчивостью. Надо отметить, что его младшему собрату по перу Фредерику Бегбедеру это несвойственно.

«*Vuasi*» – популярный французский журнал о жизни звезд.

Всемирно известный (*англ.*).

Соответствует русскому «Посторонним вход воспрещен».

«Живи свободным или умри» (*англ.*).

Перевод Е. Тарховской и Г. Орловской.

Дым застилает глаза (*англ.*).

Бадд Шульберг (1914–2009) – американский сценарист, актер, режиссер и продюсер.

Зимний карнавал (*англ.*).

Я знала, что он станет писателем. Я это чуяла (*англ.*).

Кэбелл «Кэб» Кэллоуэй Третий (1907–1994) – американский джазовый певец и шоумен.

Соответствует русскому «светская львица».

Янник Ноа (р. 1960) – известный французский теннисист и поп-соул-певец.

Соответствует русскому «привет всем».

Усек? (англ.)

Неловкий, неуклюжий (*англ.*).

Джин Харлоу (1911–1937) – американская актриса, кинозвезда и секс-символ 30-х гг.

«Мое самое красивое дитя» (*англ.*).

Долорес дель Рио (1905–1983) – мексиканская актриса немого кино.

Эррол Лесли Томсон Флинн (1909–1959) – знаменитый голливудский актер.

В оригинале созвучие: Оона – Уна, тоон – луна (англ.).

«Попрошайка Минни» (*англ.*) – песня Кэба Кэллоуэя.

«Пройдемся-ка на ту сторону» (*англ.*) – песня американского рок-музыканта Лу Рида (1942–2013).

Какая гадость! (*англ.*)

Хэмптонс – курорт на берегу Атлантического океана, недалеко от Нью-Йорка.

После полудня (*лат.*).

«Пустой светский разговор» (*англ.*).

«Безмолвный разговор» (англ.).

«Гражданин Кейн» (1941).

Бессмысленный набор слов, похожих на немецкие.

Было приятно не-поговорить с вами, мисс О'Нил (*англ.*).

Я тоже рада была не-познакомиться с вами, Джерри (*англ.*).

Завтра настанет великий день (*англ., исп.*) – первая строчка популярной джазовой песни.

Кэрол в дальнейшем снискала репутацию изрядной зануды. Только ее последний муж, актер Уолтер Маттау, способен был с ней сладить. Знаменитый анекдот: когда она непрерывно жаловалась на холод во время поездки студеной порой в Польшу в 1960-х гг., где они посетили, в частности, знаменитый концентрационный лагерь, Уолтер Маттау в конце концов сказал ей: «You ruined my trip to Auschwitz!» («Ты испортила мне поездку в Освенцим!» – *англ.*) Самой же большой гулякой из компании была Глория Вандербилт. Осиротев в полтора года, она четыре раза выходила замуж, публиковала эротические стихи и романы и выпустила первые «designer jeans». Позже она стала изобретательницей понятия «cougar» (на американском жаргоне – женщина средних лет, любящая молодых мужчин. – *Примеч. перев.*): одного из своих юных любовников она прозвала «Нижинским куннилингуса». (*Примечание посмеивающегося автора.*)

«Бульварное чтение» (англ.).

«Жизнь есть ложь» (англ.).

Лина Мэри Кэлхун Хорн (1917–2010) – американская джазовая вокалистка, киноактриса.

Здесь и далее перевод Л. Володарской.

Иметь и не иметь (*англ.*).

«Дебютантка года» (*англ.*).

«Идти и разговаривать» (*англ.*).

Давай устроим вечеринку, / Давай повеселимся, / Я принесу хот-дог, /
Ты принесешь булочку (*англ.*). Однако песенка двусмысленная: на жаргоне
hot dog – мужской член, а bun – задница.

«Только ты под луной и под звездами» (англ.).

Уилла Сиберт Кэсер (1873–1947) – американская писательница.

Сильвия Плат (1932–1963) – американская поэтесса и писательница.

Труднопереводимое английское выражение, в данном случае означающее примерно «украшение сливок общества».

Французское название; в России фильм известен под оригинальным названием «Приятель Джои».

Культовый ночной клуб в Нью-Йорке, славящийся, в частности, непомерным употреблением наркотиков.

«Бедные богатые девочки» (англ.).

Сестры Эндрюс – американское вокальное трио: Лаверн Софи Эндрюс, Максин Анджелин Эндрюс и Патриция Мари Эндрюс.

«Ром и кока-кола» (*англ.*) – популярная песня в исполнении сестер Эндрюс.

«Работая за американский доллар» (*англ.*) – строчка из песни «Ром и кока-кола».

Мэй Уэст (1893–1980) – американская актриса, драматург, сценарист и секс-символ, одна из самых скандальных звезд своего времени.

Мальчик-игрушка (*англ.*).

Всю свою жизнь Скотт Фицджеральд сетовал, что не воевал в Первую мировую, как Хемингуэй и Дос Пассос. После учебы в Принстоне будущий автор «Великого Гэтсби» был призван и попал в лагерь подготовки офицеров, затем стал лейтенантом 67-го пехотного полка в Алабаме, где служил адъютантом генерала, так и не поучаствовав в сражениях Первой мировой войны в Европе. Сегодня с трудом верится, что в первой половине XX в. молодые американцы рвались под пули. *(Примечание окопавшегося в тылу автора, который, слава богу, прошел военную подготовку в мирное время, в 120-м пехотном полку зимой 1987 г.)*

«Тропа туриста» (*англ.*).

Прозвище американских солдат.

Куортербек (англ. quarterback) – распасовщик в американском футболе, где игроки носят форму с усиленными плечами.

Прошлого года (*англ.*).

«Когда начинают играть бегуэн» – песня Коула Портера.

«Когда начинают играть бегуэн, вспоминаются звуки музыки...»
(англ.)

«Я ненавижу кино, как отраву» (*англ.*) – цитата из романа «Над пропастью во ржи».

Уолтер Уинчелл был знаменитым хроникером, специализировавшимся по светским сплетням, что-то вроде американского Алена Пакадуса 40-х годов. Уна регулярно упоминалась в его хронике в «Нью-Йорк дейли миррор», где за ней закрепилось прозвище «the toast of cafe society». *(Примеч. авт.)*

Здесь и далее перевод М. Макаровой.

Сплетницы (*англ.*).

Этот анекдот подтвержден английским театральным критиком Кеннетом Тайнаном и рассказан Орсоном Уэллсом в его телеинтервью Дэвиду Фросту. *(Примеч. авт.)*

Бен Хект (1894–1964) – один из самых успешных и востребованных сценаристов классического Голливуда. Первый сценарист, удостоенный премии «Оскар».

«Мне повернуться сюда?» (англ.)

«Я не знаю, что сказать...» (англ.)

Перевод Л. Лунгиной.

Книга американского кинематографиста Кеннета Энгера, положившая начало популярному ныне жанру собраний сплетен о звездах.

Бетти Буп – персонаж рисованных мультфильмов, созданный Максом Флейшером.

«Поло Лаунж» – знаменитый ресторан в Беверли-Хиллз, излюбленное место многих поколений звезд.

«Дегенеративное искусство» (нем. Entartete Kunst) – термин нацистской пропаганды для обозначения авангардного искусства, которое представлялось не только модернистским, антиклассическим, но и еврейско-большевистским, антигерманским, а потому опасным для нации и для всей арийской расы.

Стэн Лорел и *Оливер Харди* – американские киноактеры, одна из наиболее популярных комедийных пар в истории кино. Стэн был худым, а Оливер – полным.

Чарльз Огастес Линдберг (1902–1974) – американский летчик, ставший первым, кто перелетел Атлантический океан в одиночку.

Очевидно (*англ.*).

Кончено (англ.).

Прости и забудь (англ.).

Здесь: малолетки (*англ.*).

Чарли сделал меня зрелой, а я сохраняю его молодость (*англ.*).

Американское ругательство, означающее «чушь», «вздор».

Потери на войне (англ.).

Неологизм, означающий «женолюбие».

«Оставьте меня одного» (*англ.*).

Ян Карский (1914–2000) – участник польского движения
Сопротивления, Праведник мира.

Рауль Хильберг (1926–2007) – американский историк, виднейший историограф холокоста.

Лондонский Блиц – бомбардировка Великобритании нацистской Германией с сентября 1940 по май 1941 г.

Макс Гастингс (р. 1945) – британский историк, писатель, журналист. Автор многочисленных книг о Второй мировой войне.

Свобода. Свобода есть, пить, трахаться, насиловать, красть, веселиться, танцевать, убивать и снова убивать, пока не лопнешь (*англ.*)

Френчиз – так пренебрежительно называют французов англичане.

«Дорога у нас впереди» (*англ.*).

В действительности все было несколько иначе. Когда Эрнест Хемингуэй вошел в холл «Рица», немцы уже покинули отель. Директор встретил его с криком: «Мы спасли Белую Лошадь!» – на что он ответил: «Так несите ее сюда!» – и принялся методично напиваться. *(Примеч. авт.)*

Оригинальное название «The Hang of It».

Оригинальное название «Last Day of the Last Furlough».

Перевод М. Ковалевой.

Библия короля Якова – перевод Библии на английский язык, выполненный под патронажем короля Англии Якова I и выпущенный в 1611 г. Вплоть до настоящего времени Библия короля Якова носила статус утвержденного, «авторизованного» королем перевода, хотя, в отличие от предыдущих «авторизованных» переводов, начиная с Большой Библии, изданной при Генрихе VIII, на самом деле никакого королевского утверждения никогда не получала.

Игра слов: «натюрморт» означает по-французски «мертвая натура».

Чертовски верно (*англ.*).

Очевидно, имеется в виду герой повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы».

Битва за остров Гуадалканал в составе Британских Соломоновых островов, носившая кодовое название «Операция „Уотчтауэр“».

«*Чиро*» – знаменитый ночной клуб на Сансет-бульваре.

Обстрел со стороны своих (*англ.*).

Флагманский магазин (*англ.*).

«Потому что он был комми (коммунистом)!» *(англ.)*

Буквально: «За***нный до полной неузнаваемости» (*англ.*).

Имя героини романа «Прощай, оружие», красивой медсестры, в которую влюбляется рассказчик. (*Примеч. авт.*)

Маргарет О'Брайен (р. 1937) – американская актриса, известная благодаря ролям, исполненным в детском возрасте.

«*Конец путешествия*» – пьеса английского драматурга Р. С. Шерифа (1896–1975) о Первой мировой войне.

«Посттравматическое стрессовое расстройство» (англ.).

Здесь и далее перевод Л. Володарской.

Лорен Бэколл рассказывает об этой сцене в своих мемуарах: *By Myself*, Ballantine, 1984. (Примеч. авт.)

Господи! (англ.)

Хоакин Рафаэль Феникс (р. 1974) – американский актер.

«*Мастер*» – драма режиссера, сценариста и сопродюсера Пола Томаса Андерсона (2012).

По-французски в оригинале. J'ai ri – я смеялся (*фр.*) созвучно имени Jerry – Джерри.

Овація стоя (*англ.*).

Шавье Кугат (1900–1990) – испано-американский руководитель джазового оркестра.

Джин Рис (Элла Гвендолин Рис Уильямс; 1890–1979) – вест-индская и английская писательница, романистка и эссеистка.

«Улыбка» (*англ.*) – песня Чарли Чаплина.

Ричард Аведон (1923–2004) – знаменитый американский фотограф.

Джерри Льюис (р. 1926) – американский актер, комик, режиссер и писатель.

Перри Смит – убийца семьи Клаттер, повешенный на глазах Трумена Капоте 14 апреля 1965 г. в тюрьме Лансинг (Канзас). О его казни он рассказывает в «Хладнокровном убийстве». (Примеч. авт.)

Проклятый (или чертов) ловец (*англ.*).

Вместо того чтобы произнести «shit», Уна использует близкое по созвучию слово.

Автор цитирует не «Другие берега», более известную русскому читателю книгу Набокова, написанную по-русски, а его более позднюю англоязычную автобиографическую книгу «Память, говори» (перев. С. Ильина), переведенную на французский язык под названием «Autres Rivages» («Другие берега»).

«В какое дерьмо я превратила свою жизнь!» (*англ.*)

«Ярмарка в Скарборо» (*англ.*) – см. эпиграф.

Здравствуйте, мое имя Фредерик Бегбедер. Я французский писатель, а Ваш электронный адрес мне дал Натанаэль Кармиц. Меня восхищает жизнь Уны О'Нил, и в настоящее время я работаю над новым романом о Второй мировой войне. Как Вам известно, Уна встретила Джерри Сэлинджера в 1940 году, когда ей было шестнадцать лет, еще до того, как Сэлинджер во время войны побывал в Англии, Франции и Германии. В 1941 году у них был мимолетный роман, а затем, оказавшись в Лос-Анджелесе, она влюбилась в Чарли Чаплина... и с тех пор они счастливо жили вместе! Причина же, по которой я Вас беспокою, заключается в том, что все биографы Уны упоминают о длинных письмах, которые Сэлинджер писал Уне, когда проходил военную подготовку в армии США. Поскольку я большой поклонник американской литературы, а также творчества Чаплина, мне было бы очень интересно познакомиться с этими письмами. Правопреемники Сэлинджера возражают против любой публикации этих писем, и я, разумеется, уважаю их позицию. Однако, поскольку в 2010 году мистер Сэлинджер скончался, я полагаю, что эти документы в настоящее время стали частью истории литературы XX века. Ценность их весьма велика, и остается только сожалеть, что никто не может хотя бы их прочесть. Для меня было бы большой честью получить доступ к этим письмам в архиве леди Чаплин, пусть всего на несколько минут. У меня есть определенная теория касательно этих писем: не исключено, что именно любовь к Уне вдохновила Сэлинджера на создание первой версии «Над пропастью во ржи». А это значило бы, что Уна стала музой, побудившей его приступить к созданию своего шедевра, за десять лет до публикации этого единственного романа писателя! Кроме того, было бы интересно сравнить письма Сэлинджера Уне с его новеллами, опубликованными в годы войны в «Стори», «Эскавайре» и «Сатердей ивнинг пост», чтобы выяснить, нет ли там определенных параллелей. Это внесло бы значительный вклад в понимание того, как именно Сэлинджер создавал свои произведения о Второй мировой войне.

Благодарю Вас за потраченное на чтение моего письма
время.

С глубокой признательностью,

Фредерик Бегбедер (англ.)

Дорогой Фредерик,
благодарю Вас за Ваше письмо, которое я переслала
Чаплинам, чтобы они приняли по нему решение.

Как я уже говорила Натанаэлю, до настоящего времени они
не давали разрешения знакомиться с этими письмами ни одному
автору, но все может быть.

Я попросила их дать ответ в ближайший понедельник, а
значит, мы свяжемся с Вами на следующей неделе.

С наилучшими пожеланиями,

Кейт Гуйонварч (англ.)

Анри-Фредерик Амьель (1821–1881) – швейцарский писатель, поэт, мыслитель-эссеист; писал на французском языке.

Дэвид Пьер Гетта – французский диджей и продюсер. Гетта является одним из самых популярных музыкальных продюсеров, сотрудничает с такими исполнителями и группами, как Jessie J, The Black Eyed Peas, Рианна, Эйкон, Крис Уиллис, Келли Роулэнд, Лил Уэйн.

Daft Punk – французский музыкальный электронный дуэт, образованный в 1993 г. Томасом Бангальте и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо.

Бодлер, «Облачное небо», перев. Эллиса.

«Мое сердце будет биться» *(англ.)*.

«Близко, далеко, где бы ты ни был» (*англ.*).

«Я король мира!» (англ.)